

ЖИТИЕ СВ. АЛОИЗИЯ ГОНЗАГИ

Вирджилио Чепари

*Пер. с ит. Сепари, V. Vita di San Luigi Gonzaga. Nuova edizione copiosamente annotata.
Einsiedeln: Benziger & Co., 1891*



В переводе Константина Чарухина

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I. О происхождении и рождении святого Алоизия

Алоизий Гонзага, о чьей жизни и нравах мы вознамерились поведать, был первенцем светлейших и превосходительнейших господ: донна Ферранте Гонзага, князя Империи и маркиза Кастильоне-делле-Стивьере в Ломбардии, и донны Марты Тана Сантена из Къери, что в Пьемонте.

Маркиз дон Ферранте, отец святого Алоизия, приходился троюродным братом светлейшему господину дону Гульельмо, герцогу Мантуи. Происходя из того же рода, он владел по наследству от предков маркизатом, расположенным меж Вероной, Мантуей и Брешией, неподалеку от озера Гарда.

Маркиза донна Марта также происходила из знатнейших родов Пьемонта: она была дочерью синьора Бальдассарре Тана, барона Сантены, и донны Анны из древнего рода баронов делла Ровере и приходилась двоюродной сестрой кардиналу Джироламо делла Ровере, архиепископу Турина.

Брак родителей святого Алоизия был заключен в Испании при следующих обстоятельствах. Маркиз дон Ферранте пребывал при дворе Католического короля донна Филиппа II, а донна Марта была при том же дворе весьма любимой и доверенной дамой королевы Изабеллы Валуа, супруги короля и дочери Генриха II, короля Франции. Узнав благородные качества и редкие достоинства этой синьоры, маркиз загорелся желанием взять её в жены. По зрелом размышлении, утвердившись в своем намерении, он устроил так, дабы желание его достигло слуха Их Величеств. Получив их соизволение, а также богатое приданое и драгоценные дары, коими королева в знак любви оделила свою даму, он здесь же при дворе вступил с нею в брак.

Само обручение и устроение сего дела были отмечены обстоятельствами столь святыми, что ясно предвещали они, какого плода должно ожидать от такого союза. Ибо, едва донна Марта узнала от королевы о предложении родства, она повелела отслужить великое множество месс во славу Пресвятой Троицы, Святого Духа, Страстей Господних, Мадонны, ангелов, не считая иных литургий, дабы испросить у Бога благого исхода сего дела.

В Италию отправили письмо для получения согласия родственников с обеих сторон, а ответ прибыл ко двору как раз в то время, когда все сподобились празднования Юбилея, незадолго до того провозглашенного Римом. В день Рождества св. Иоанна Предтечи маркиз и донна Марта причастились, получили юбилейное отпущение и заключили брачный договор. В тот же самый день синьора (как она сама мне рассказывала) приняла твердое решение впредь со всяким рвением пребывать в делах благочестия. Более того, поелику королева в ту пору была неспраздна, она не пожелала на время беременности расставаться с донной Мартой, к которой питала особое доверие и которую привезла с собою из Франции. Посему государыня повелела отложить венчание до своего разрешения от бремени, что и было исполнено.

Когда же настал день, назначенный королевой для бракосочетания, — по случаю ли иного Юбилея или полного отпущения, пришедшейся на то время, — маркиз и маркиза, вновь исповедавшись и причастившись, свято отпраздновали вступление в брак в благодати Божией, как и подобает добрым католикам. И кажется мне достойным упоминания, что это было первое бракосочетание в Испании, совершенное по правилам и

торжественным обрядам, предписанным святым Тридентским собором, чьи установления именно в те дни начали вводиться в испанских краях.

После свершения бракосочетания маркиз получил от короля и королевы дозволение вернуться в Италию, в свои владения, и увезти с собою маркизу, свою супругу. Прежде чем он покинул двор, король объявил его своим камергером (что значит камердинер чести) и назначил ему почетное содержание в Неаполитанском королевстве и в Миланском герцогстве пожизненно для него и одного из сыновей, а вскоре после назначил его в Италии капитаном тяжеловооруженных всадников — сей чин почитают за честь первые князья и герцоги Италии.

Прибыв в Кастильоне и почувствовав себя свободной от придворных забот, маркиза, которая всегда была склонна к христианскому благочестию, обрела ныне большую свободу и возможности для сего; она паче прежнего предалась молитве, верная обету, данному еще в Испании. Особенным же образом возгорелась она желанием иметь сына, который служил бы Богу в иноческом чине. Пребывая в столь святом намерении, она часто и ревностно испрашивала у Бога таковой милости в своих молениях.

И события вскоре явили, что молитвы её были услышаны: она зачала первенца, который впоследствии вступил, в Общество Иисусово, где свято подвизался и свято почил. И не должно дивиться тому, что столь святой сын, испрошенный с такою благою целью, был обретен по молитвам матери. Ибо в Священной истории повествуется, сколь милостив всегда Господь к подобным прошениям. Так случилось с Анной, матерью святого пророка Самуила, которая, будучи бесплодна и испросив в храме сына, дабы посвятить его на служение Богу, тотчас получила желаемое (ср. 1 Цар 1:11–20). Подобно тому были испрошены молитвами бесплодных матерей и св. Николай Толентинский, и св. Франциск из Паолы, и многие иные. Посему Господь, вложивший в сердце маркизы желание просить о сей милости, благосклонно услышал её и избрал для Себя сей первый плод чрева её.

Кажется, Богу угодно было соделать святого Алоизия Своим достоянием еще прежде, нежели тот вышел из материнской утробы. Ибо божественному провидению должно приписать то обстоятельство, что он был крещен прежде, нежели окончательно родился, и что при самом его рождении ему споспешествовала Своим покровительством Препоблагословенная Дева, Царица Небесная, к Коей он с самого младенчества питал великое благоговение.

Маркиза часто рассказывала, что когда пришло время родов, её постигли столь сильные муки, что она оказалась на грани смерти, не в силах разрешиться от бремени. Маркиз, призвав многих врачей, заклинал их, если невозможно спасти дитя, постараться хотя бы спасти ему душу, а жизнь — матери. Но врачи, испробовав без пользы различные средства и снадобья, в конце концов отчаялись и сочли смерть матери и ребенка неизбежной. Узнав о сем и видя, что земная помощь иссякла, маркиза решилась прибегнуть к помощи небесной, в особенности же к заступничеству Пресвятой Девы, Матери милосердия. Призвав маркиза в свои покои, она спросила, согласен ли он, дабы в сей крайности она дала обет Мадонне. Получив согласие супруга, она пообещала, что если спасется, то отправится в паломничество к Святой хижине в Лорето и возьмет с собою сына, ежели тот родится живым.

Едва обет был дан, опасность отступила, и вскоре донна Марта родила сего сына. Поскольку же врачи продолжали твердить, что младенец вряд ли выживет, а маркиз настаивал на спасении его души, повивальная бабка, едва увидев, что дитя можно

крестить, совершила таинство еще до того, как он полностью явился на свет. Так, заступничеством Препоблагословенной Девы, были спасены жизни матери и сына; и сын не успел еще окончательно войти в сей мир, как уже возродился для Бога в Его благодати. Сие должно приписать особенному благоволению Господа, Пожелавшего взять его в Свой удел еще во чреве. В этом Алоизий уподобился блаженной деве Мехтильде, которой Господь открыл, что по Его воле при подобной же опасности крещение её было совершено безотлагательно, дабы душа её, немедленно посвященная Богу, стала Его храмом, в коем Он обитал бы с самого рождения, освящая её Своей благодатью.

Родился святой в крепости Кастильоне, главном оплоте маркизата его отца, в диоцезе Брешии, в понтификат святого Пия V, в год от Рождества Господа нашего 1568-й, девятого дня марта месяца, во вторник, в двадцать три часа и три четверти (по тогдашнему счёту, т.е. за четверть часа до захода солнца. — прим. пер.). Тотчас по рождении мать осенила его крестным знамением и дала ему свое благословение. Целый час младенец лежал столь тихо и неподвижно, что едва могли распознать, жив он или мертв. Затем, словно пробудившись от глубокого сна, он издал лишь один краткий крик, после чего тотчас умолк и более не плакал, как обычно плачут дети; сие могло служить знамением его будущей кротости и врожденного изящества его нравов.

Крещение было совершено с великим торжеством 20 апреля того же года, также во вторник, в церкви свв. Назария и Цельсия монсеньором Джованни Баттистой Пасторио, архипресвитером Кастильоне. Младенцу было наречено имя Алоизий — в честь покойного отца маркиза. Восприемником стал светлейший дон Гульельмо, герцог Мантуи, приславший в Кастильоне сиятельного господина дона Просперо Гонзага, своего и маркиза двоюродного брата, дабы тот от имени Его Высочества держал младенца у священной купели. О сем имеется запись в приходской книге той церкви, где я заметил следующее: тогда как все записи о крещениях того времени составлены по единому образцу на итальянском языке, лишь в записи о святом Алоизии то ли из почтения к его особе, то ли по особенному внушению Божию в конце добавлены латинские слова, каковых я не видел более ни у кого, даже у его братьев. Впоследствии они воистину исполнились на нем: *Sit felix, carusque Deo, ter optimo, terque maximo, et hominibus in aeternum vivat*, то есть «Да будет он счастлив и любезен Богу, Трижды Благому и Трижды Великому, и да живет вовеки на благо людям».

ГЛАВА II. О воспитании святого Алоизия до семилетнего возраста

С каким тщанием и усердием воспитывали святого Алоизия в его младенчестве, всякий может легко себе представить. Будучи первенцем, он должен был стать наследником не только маркиза, своего отца, но и двух своих дядей, братьев отца: синьора Альфонсо, владельца Кагель-Гоффредо, и синьора Орацио, владельца Сольферино. Ибо у второго вовсе не было детей, а у первого была лишь одна дочь, посему они неизбежно должны были оставить свои имперские феодалы племяннику Алоизию.

Маркиза, как дама благочестивая, желала, чтобы сын её с самого раннего детства приучался к делам благочестия. Едва он начал лепетать и выговаривать первые слова, как она сама научила его осенять себя крестным знамением, произносить святейшие имена Иисуса и Марии, приучила читать *Pater noster*, *Ave Maria* и другие молитвы. Того же требовала она от кормилицы и других слуг, что ходили за ним. И рос он столь набожным, что по ясности сей утренней зари можно было судить, сколь велик будет блеск его полудня (ср. Притч 4:18).

Женщины, служившие в ту пору у маркизы, на коих было возложено особое попечение одевать и раздевать сего малого отрока, свидетельствовали, что примечали за ним с самого младенчества величайшее благочестие и страх Божий. Рассказывают о двух весьма примечательных его привычках. Первая: он выказывал много сострадания к бедным и, видя их, старался подавать им милостыню. Вторая: начав самостоятельно ходить по дому, он часто прятался, и когда его искали, то находили в каком-нибудь укромном уголке, где он уединялся для молитвы. Все немало тому дивились и уже тогда предрекали, что он станет святым. Другие же свидетели под присягой показывали, что часто, беря его, еще малютку, на руки, чувствовали, как в душе их пробуждается благочестие, и казалось им, будто держат они в объятиях райского ангела.

Маркиза находила великую отраду, видя, что сын растет столь набожным. Маркиз же, отец его, будучи по званию военным (за что и получил от Католического короля различные почетные должности), намеревался направить сына по той же стезе. Посему, когда Алоизию исполнилось четыре года, отец велел мастерить для него маленькие аркебузы, бомбарды и иное оружие, приспособленное, чтобы он мог управляться с ним в таком возрасте.

Когда же маркиз собирался в Тунис, куда Католический король отправлял его во главе трех тысяч итальянских пехотинцев, ему предстояло произвести смотр солдат в Казальмаджоре, земле в окрестностях Кремоны, принадлежащей Миланскому герцогству. Тогда он забрал Алоизия из женских рук и из-под опеки матери, хотя тому было не более четырех-пяти лет, и взял с собою в Казальмаджоре. В дни смотра он ставил его во главе отрядов, облаченного в легкие доспехи, с пикой на плече, и с удовольствием смотрел, как ребенок находит радость в этом занятии.

Алоизий пробыл в Казальмаджоре несколько месяцев. А поскольку в столь нежном возрасте дети легко научаются подражать всему, что видят, то, играя и проводя целые дни среди солдат, он усвоил некий воинский дух. Казалось, он подавал знаки склонности к той славе, к коей побуждали его речи и пример отца.

Случалось не раз, что, управляясь с оружием, и особенно с аркебузами, он подвергал свою жизнь явной опасности, от которой его почти чудесным образом избавляло божественное Провидение, хранившее его для лучшего жребия. Однажды, стреляя из маленькой аркебузы, он опалил порохом все лицо. В другой раз, летом, в полуденный час, когда маркиз отдыхал, а многие солдаты спали, он взял из солдатских пороховниц порох и сам (вещь поистине удивительная в таком возрасте!) зарядил небольшое артиллерийское орудие, стоявшее в крепости, и поднес огонь. При отдаче лафет орудия с такой силой отбросило назад, что колеса едва не подмяли его.

Маркиз, разбуженный грохотом и опасаясь солдатского мятежа, тотчас послал узнать, что стряслось. Узнав же в чем дело, он хотел наказать сына, но солдаты, которых позабавила такая смелость в столь нежном возрасте, вступились за него и мольбами испросили ему прощение.

Об этих событиях Алоизий впоследствии рассказывал в Ордене как о знаках божественной благодати к нему, избавившей его от множества опасностей. Впрочем, он чувствовал уколы совести из-за того, что взял у солдат тот порох без спросу; хотя и утешал себя мыслью, что если бы попросил, они бы охотно ему дали.

Когда маркиз с войском отбыл в Тунис, он отослал Алоизия обратно в Кастильоне, где мальчик продолжил вести тот же образ жизни, что усвоил в Казале. И поскольку,

вращаясь среди солдат, он часто слышал, как они употребляют слова вольные и непристойные (как это по большей части водится у подобного люда), то и сам начал произносить такие, хотя и не знал, что они означают (как он сам поведал отцу Джироламо Пьятти, которому, уже вступив в Орден, по его просьбе открыл всю свою жизнь в миру).

Однажды его услышал воспитатель, синьор Пьер Франческо дель Турко, и выбрал его так сурово, что (как рассказывал мне сам воспитатель) за всю оставшуюся жизнь у Алоизия не сорвалось с языка ни одного слова, не исполненного чистоты и благопристойности. Более того, если он слышал, как другие произносят подобное, он тотчас либо стыдливо опускал глаза в землю, либо отворачивался, показывая, что не внимает этому, а порой и выражал неудовольствие. Из этого можно заключить, что если бы он прежде понимал смысл сказанного, то никогда не употребил бы подобных слов.

Эти слова, сказанные им в детском возрасте и без понимания их значения, суть величайший грех, какой я нахожу в жизни Алоизия. С тех пор, как ему указали, что они дурны и недостойны его звания и благородства, он пришел в такое смущение, что, по его собственным словам, долго не мог решиться открыть их даже исповеднику: столь велик был ребяческий стыд, который он испытывал. И он скорбел об этом всю жизнь, словно совершил тягчайший грех.

Хотя он никогда не совершал проступка более тяжкого, о котором стоило бы скорбеть, он, уже состоя в Ордене, ради самообуздания и смирения то и дело рассказывал об этом некоторым близким братьям, дабы уверить их, что был дурным ребенком. И должно полагать, что Бог по особому Провидению попустил этот малый изъян, дабы посреди множества сверхъестественных даров и добродетелей, коими божественная благодать впоследствии обогатила его душу, он обрел повод к смирению, признавая вину даже там, где по младости лет и неведению её, вероятно, не было. И дабы (как писал св. Григорий о св. Бенедикте) ногу, которую, так сказать, уже поставил в мир, он отдернул назад (Св. Григорий Двоеслов. *Диалоги*, кн. II, гл. 1).

Когда же он достиг семилетнего возраста (в каковое время, по общему мнению Философа и святых учителей, дети обычно начинают пользоваться разумом и становятся способны к добродетели и пороку), он столь решительно устремил сердце к Богу и так посвятил себя Его Божественному Величеству, что называл это временем своего обращения.

Посему, поверяя состояние своей души духовным отцам, кои направляли его, он указывал на свое обращение от мира к Богу в семилетнем возрасте как на одно из величайших благодеяний, полученных из длани Божией.

О том, какой небесной благодатью он был храним с самого пробуждения разума, ясно говорит следующее. Четверо исповедников, принимавших у него исповедь (в том числе генеральную) в разное время и в разных местах, как в миру, так и в Ордене, оставили о том письменные свидетельства, не зная друг о друге. В их числе был и сиятельный кардинал Роберт Беллармин, принявший его последнюю генеральную исповедь незадолго до смерти. Все они подтвердили, что за всю жизнь он ни разу не совершил смертного греха и не утратил благодати, полученной во святом крещении.

Это обстоятельство должно казаться тем более достойным удивления, что в свои самые опасные годы он не жил в монастырских стенах, где благодаря удаленности от соблазнов, благочестивому общению со множеством слуг Божиих и обилию духовной помощи гораздо легче сохранить благодать Божию, нежели в миру. Он же с детства приобщился к

придворной жизни и, помимо того что родился и воспитывался в сиятельном доме, так еще и провел годы при дворе великого герцога Тосканы, герцога Мантуи и короля Испании. Ему приходилось постоянно общаться с князьями и вельможами и, по воле случая, беседовать с людьми всякого звания. И тем не менее, среди утех отчего дома и посреди соблазнов и искушений высшего общества он всегда сохранял чистой и незапятнанной белую одежду крещальной невинности.

Посему с полным основанием кардинал Беллармин, рассуждая однажды о выдающихся добродетелях Алоизия (еще при его жизни) в присутствии многих лиц (среди коих был и я) и высказав обоснованное суждение, согласно коему должно верить, что божественное Провидение всегда сохраняет в Церкви воинствующей неких святых, утвержденных в благодати еще при жизни, присовокупил такие слова: «Лично я полагаю, что одним из этих утвержденных в благодати является наш Алоизий Гонзага, ибо я знаю, что происходит в этой душе».

Тот же кардинал в своем прекраснейшем и достоверном свидетельстве добавил и иное, что покажется еще более удивительным всякому, кто понимает законы духовной жизни и принимает во внимание качество лица, сие утверждающего: а именно, что святой Алоизий с семи лет и до самой смерти всегда вел жизнь совершенную. Сколь же велик сей дар, оставляю судить знатокам.

Кажется, Богу угодно было, чтобы сами бесы засвидетельствовали святость сего отрока и ту славу, что уготована ему в раю. Ибо в то время через Кастильоне проходил один брат-францисканец из обсервантов, почитаемый повсюду за святого. Когда он отдыхал в обители своего ордена, именуемом Санта-Мария (примерно в миле от Кастильоне), туда стеклось великое множество народу, дабы увидеть его и ввериться его молитвам. А поскольку шла молва, что он творит чудеса, к нему привели нескольких одержимых нечистыми духами, дабы он изгнал их.

И вот, когда брат находился в церкви, творя отчетку в присутствии множества народа и знатных особ (среди которых был отрок Алоизий с младшим братом), нечистые духи начали неистово кричать и, указывая на Алоизия, возопили: «Видите вон того? Вот кто взойдет на небо и обретет великую славу!» Слова сии многим запомнились и тотчас разнеслись по Кастильоне; и донныне живы очевидцы, которые были там и свидетельствуют о том. И хотя не подобает верить бесам, отцам лжи, все же порою Бог, к вящему их посрамлению, понуждает их изрекать истину. В данном же случае сказанному можно верить, ибо уже в ту пору сего святого отрока за его жизнь и нравы почитали ангелом.

Каждый день он читал дома, один или с кем-то, «Ежедневное упражнение», семь покаянных псалмов и Оффиций Пресвятой Девы, всегда стоя на коленях, и творил иные молитвословия. Если кто-нибудь намеревался подложить ему под колени подушку или что иное, он не соглашался, находя удовольствие в том, чтобы преклонять колени на голой земле; сего правила он держался потом всю жизнь, как будет сказано далее.

В то же время Алоизия постигла четырехдневная лихорадка, которая длилась восемнадцать месяцев и немало мучила его, особенно поначалу, хотя и не всегда приковывала к постели. Он переносил её с величайшим терпением и ни за что не желал опускать ежедневного чтения Оффиция Пресвятой Девы, Степенных псалмов (Пс 120–134), семи покаянных псалмов (Пс 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) и иных своих обычных молитв. Разве что, когда он чувствовал себя более усталым, чем обычно, он звал кого-

нибудь из женщин, прислуживавших маркизе, его матери, и просил помощи, но их уговоры оставить молитву были тщетны.

Таковы первые основания, которые заложил святой Алоизий для своего духовного здания в возрасте семи лет; посему не приходится удивляться, что впоследствии он достиг такой высоты совершенства, о какой мы скажем в ходе повествования о его жизни.

ГЛАВА III. О том, как маркиз привез святого Алоизия во Флоренцию, где тот принес обет девства и достиг великого преуспевания в духовной жизни

После похода в Тунис маркиз дон Ферранте более двух лет пребывал при испанском дворе, прежде чем вернуться в Италию. Возвратившись же в свои владения, он увидел, что Алоизий, его первенец, уже не столь склонен к военному делу, как в пору расставания, а всецело предан молитве и исполнен благонравия. И как дивился он, видя в сыне такую рассудительность и зрелость, так и радовался в мыслях своих, полагая, что тот будет весьма способен к управлению государством. Однако отрок уже тогда, будучи восьми лет от роду, имел намерения совсем иные и питал в душе помыслы о высшем совершенстве (ср. Мф 19:21). В один из дней он решился поведать о них своей матери, маркизе.

Сама она не раз говорила, что, поскольку Бог даровал ей многих сыновей, она была бы счастлива видеть одного из них в иноческом чине. И вот, оставшись с нею наедине, Алоизий сказал: «Госпожа матушка, вы говорили, что желали бы иметь сына-монаха; верю, что Бог окажет вам сию милость». В другой день, вновь придя в её покои, он повторил те же слова и добавил: «И верю, что им буду я». Маркиза сделала вид, будто не желает его слушать, поскольку он был первенцем; прервав его речь, она отослала его от себя, однако же слова эти заметила и начала им верить, видя, сколь горячо он предан благочестию. Впрочем, истинно и то (как сам он свидетельствовал впоследствии, подвизаясь в Ордене), что в ту пору он еще не принял твердого решения, но продолжал жить в молитве, как и прежде.

Между тем по Италии разнеслись грозные слухи о чуме. Посему маркиз, пребывая в тревоге, пожелал удалиться в Монферрат и увез с собою всё семейство. Там его настиг жестокий приступ подагры, причинявший ему нестерпимые мучения. По совету врачей он решил отправиться на воды в Лукку и по сему случаю вознамерился взять с собою второго сына, Родольфо, ради излечения от некоего недуга, а также и Алоизия. Он намеревался на обратном пути посетить Флоренцию и оставить их при дворе светлейшего дона Франческо Медичи, великого герцога Тосканы, отчасти дабы поддержать давнюю дружбу, что связала его с сим государем еще при испанском дворе, отчасти же в расчете на то, что сыновья там легче усвоят тосканское наречие.

Итак, в начале лета 1577 года они отправились в путь, к великой скорби маркизы, которой тяжело было отпускать от себя сыновей в столь нежном возрасте. По окончании лечения водами маркиз направился во Флоренцию; однако, приблизившись к городу и узнав, что у застав выставлена усиленная стража из-за угрозы чумы, он остановился на вилле своего знакомца Якопо дель Турко, близ Фьезоле.

Тем временем он известил Его Высочество, что прибыл навестить его. Тотчас получив ответ, маркиз въехал в город и был принят великим герцогом во дворце со многими знаками расположения. Когда же маркиз представил ему своих сыновей, Его Высочество столь обрадовался его предложению, что непременно желал оставить их в своем дворце. Но маркиз, желая, дабы они помимо придворной службы прилежали и к учению, просил

дозволения поселить их вне двора. Великий герцог согласился на это и вскоре отвел им дом на улице Ангелов (*Via degli Angeli*).

Перед отъездом маркиз оставил при них в качестве воспитателя и управляющего домом синьора Пьерфранческо дель Турко (ныне мажордома синьора донна Джованни де Медичи), в чьей верности и благоразумии он в течение многих лет убедился и в Италии, и в Испании на личной службе. Камердинером он назначил им синьора Клементе Гизони (ныне мажордома нынешнего синьора маркиза Кастильоне), а учителем латыни и светского обхождения поставил добродетельного священника по имени дон Джулио Брешиани из Кремоны, назначив им и иную прислугу, подобающую их званию.

Алоизию исполнилось полных девять лет, когда отец оставил его во Флоренции. Он пробыл там два года с лишним, в течение которых с усердием изучал латинский и тосканский языки, а по праздничным дням являлся ко двору. Поначалу, ради послушания воспитателю, он иногда играл в некоторые пристойные игры, хотя сам не находил в том никакого удовольствия. Более того, светлейшая донна Элеонора Медичи, герцогиня Мантуи, рассказывает, что когда светлейшая донна Мария, её сестра (ныне королева Франции), и она сама, будучи еще девочками, звали синьора Алоизия поиграть с ними в саду или во дворце, он отвечал, что не имеет охоты к играм, но с большей радостью устраивал бы алтарики и предавался бы подобным благочестивым занятиям.

С самого начала пребывания во Флоренции Алоизий достиг великого преуспеяния в духовной жизни; посему он имел обыкновение прославлять Флоренцию как мать своего благочестия. В особенности же он проникся таким благоговением перед Пресвятой Девой, Владычице нашей, что всякий раз, когда говорил о Ней или размышлял о Её святейших тайнах, казалось, весь таял от духовного умиления. Этому немало способствовало почитание, коим во Флоренции окружен святейший образ Аннунциаты, а также книжица о Таинствах Розария, написанная отцом Гаспаром Лоарте из Общества Иисусова.

Однажды, читая эту книгу, он почувствовал, как сердце его воспламенилось желанием сотворить нечто угодное Мадонне. И пришла ему мысль, что всего приятнее и любезнее Ей будет, если он, дабы по мере сил подражать Её чистоте, принесет Ей в дар и посвятит по обету свое девство. И вот в один из дней, молясь перед сим образом Пресвятой Аннунциаты, он в честь Пречистой Девы дал Богу обет вечного девства.

Сей обет он хранил всю свою жизнь с такой непорочностью и совершенством, что сие ясно являет, сколь угоден был Богу этот дар и с какой любовью приняла его под Свой покров Пресвятая Дева. Ибо его исповедники (в частности, сиятельный кардинал Беллармин в свидетельстве под присягой, а более пространно — отец Джироламо Пьятти в своем латинском сочинении) утверждают, что святой Алоизий во все время жизни своей не испытал ни малейшего плотского движения и не принял ни единого нечистого помысла или образа, противного его обету.

Сие настолько превосходит всякую человеческую силу и старание, что в этом ясно виден особый дар Божий, ниспосланный по заступничеству Его Пресвятой Матери. И сколь высоко должно ценить эту милость, поймет всякий, кто прочтет, что св. Павел (говорил ли он от своего лица или от лица другого) трижды молил Бога избавить его от жала в плоть (ср. 2 Кор 12:7–8). И св. Иероним, дабы одолеть это чувство в пустыне, долго бичевал камнями свою нагую грудь. И св. Бенедикт нагим бросался в тернии (ср. Св. Григорий Двоеслов. *Диалоги*, кн. II, гл. 2). И св. Франциск зимой нагим погружался в снег.

И св. Бернард заходил по горло в пруды с ледяной водой и оставался там, пока не чувствовал, что этот мучительный жар угас.

И весьма немногие святые по особой небесной благодати достигали совершенного и полного бесстрастия плоти. Если же кто и достигал его, то стяжал сей дар у Бога многими молитвами и слезами. Так, св. Григорий рассказывает в «Диалогах» об авве Эквиции (кн. I, гл. 4), который, чувствуя в юности мучения от подобных искушений, долгими и непрестанными молитвами испросил, чтобы Бог послал к нему ангела; и тот сделал его столь свободным от всякого искушения и плотского движения, словно он уже вышел из тела. Кассиан же повествует об авве Серене (*Собеседования*, VII, гл. 1, 2), что тот, достигнув многими постами, молитвами и слезами сначала чистоты сердца и ума, затем, ценой таких же трудов, несомых денно и нощно, получил от Бога через ангела столь совершенный дар телесного целомудрия, что ни бодрствуя, ни во сне, ни в сновидениях никогда не имел никакого движения в теле своем. А ближе к нашим временам Ангельский Доктор св. Фома, препоясанный руками ангелов, получил этот поистине ангельский дар после того, как горящей головней изгнал прочь блудницу.

Посему, поскольку сию святую нечувствительность плоти и чистоту ума в святом Алоизии нельзя приписать природной холодности или бесчувствию (ибо он отличался нравом живым и сангвиническим, был весьма сметлив и бодр духом, как известно тем, кто был с ним знаком и общался), надлежит признать, что она была плодом необычайной благодати Божией и особой милости Пресвятой Девы, к Которой он всегда питал великое почтение и благоговение, соединенные с сыновней любовью и доверием.

Истинно и то, что он содействовал сохранению сего дара великим попечением, которое имел о своих чувствах. Ибо, хотя он и не испытывал в этом отношении никакого беспокойства, тем не менее, по великой любви к добродетели девства и чистоты, он с того самого времени стал на стражу. С непрестанным и необычайным усердием он постоянно оберегал себя и свои чувства, в особенности же глаза, кои держал в узде, дабы они никогда не обращались на предметы, могущие причинить ему какой-либо вред; и это одна из причин, по которым он ходил по улицам, опустив взор.

Но более всего в течение всей жизни и во всех местах, где он жил, он питал отвращение к разговорам и общению с женщинами, присутствия коих избегал столь ревностно, что всякому видевшему это казалось, будто он имеет к ним природное отвращение. Случалось, пока он жил в Кастильоне, что госпожа маркиза, мать его, посылала к нему в комнату с поручением одну из служивших ей дам; он же выходил к дверям, не позволяя ей войти, и тотчас, потупив взор в землю и не поднимая глаз, давал ответ и отсылал её прочь.

Более того, даже с госпожой маркизой, матерью своей, он не любил беседовать наедине. Посему, если случалось, что во время его разговора с нею в зале или в комнате другие присутствующие удалялись, он также искал повода уйти; если же не мог этого сделать, то лицо его тотчас покрывалось целомудренным румянцем — столь осторожен он был и осмотрителен.

Однажды некий доктор, приметивший это, спросил его, по какой причине он так избегает женщин, даже госпожу свою матушку. Алоизий же, дабы не открывать своей добродетели, представил дело так, словно сие происходило скорее от природного отвращения, нежели от добродетели.

Был у него с отцом, синьором маркизом, и такой уговор: пусть отец поручает ему любые дела, и он (как того требует долг) будет повиноваться беспрекословно, но только не там, где требуется общение с женщинами. Маркиз, видя его крайнюю непреклонность в этом, соблюдал договоренность, дабы не огорчать сына. Сам же Алоизий рассказывал, что никогда не видел в лицо даже некоторых знатных дам, своих близких родственниц. А поскольку этот его обычай был уже известен всем, домашние в шутку прозвали его «женоненавистником».

Во Флоренции он, кроме того, начал приступать к исповеди чаще, нежели делал это в Кастильоне. Воспитатель определил ему в духовники одного отца из Общества Иисусова, который в ту пору был ректором городской Коллегии.

Перед первой исповедью Алоизий с великим тщанием и точностью совершил приготовление дома, а затем предстал перед духовником с таким благоговением и почтением, с таким смущением и стыдом за себя, словно был величайшим грешником в мире. Едва пав к ногам священника, он лишился чувств, из-за чего воспитателю пришлось приводить его в себя и вести домой.

Впоследствии, вновь придя к сему отцу, он пожелал совершить полный пересмотр всех своих грехов. Об этом мы не раз слышали от него в Ордене: он рассказывал, что совершенная им во Флоренции генеральная исповедь за всю жизнь принесла великое утешение его душе.

После того случая он еще глубже ушел в себя и положил начало более строгой духовной жизни; он с величайшим тщанием исследовал каждое свое действие, стремясь отыскать корень своих недостатков, дабы исправить их.

Прежде всего он заметил, что, обладая сангвиническим темпераментом, он порой легко поддавался порывам раздражения и гнева. И хотя гнев сей не был столь велик, чтобы обнаруживать себя вовне, он все же причинял ему некоторое беспокойство и смущение. Дабы побороть его, он стал размышлять, сколь безобразен порок гнева. Он говорил, что ясно усматривает это, когда, вернувшись в состояние покоя, осознает, что в мгновения гнева человек не вполне владеет собой.

Вдохновленный этим рассуждением, он решил впредь противостоять этому пороку и вовсе искоренить его из своей души. С помощью божественной благодати и собственным усердием он вскоре одержал над ним полную победу, так что казалось, будто в нем не осталось и следа гневной страсти.

Кроме того, заметив, что в беседах у него порой срывались слова, задевающие доброе имя ближних (хотя, по его собственному признанию, это едва ли доходило даже до простительного греха), он почувствовал недовольство собой. Желая впредь избежать необходимости каяться в подобном, он удалился от общения и разговоров не только с посторонними, но и с домашними. Большую часть времени он пребывал в уединении, дабы не произнести и не услышать ничего, что могло бы запятнать чистоту его совести. И хотя некоторые почитали его за это чрезмерно строгим и угрюмым, он не придавал этим суждениям никакого значения.

С того времени и до конца своих дней он более не играл ни в какие игры. Более того, он стал столь послушен старшим, что, по свидетельству воспитателя, ни в чем, даже в самой малости, не преступил их воли. Напротив, если видел, что младший брат Родольфо

выказывает недовольство из-за выговоров воспитателя или учителя, то с любовью наставлял его и призывал к послушанию.

Слугам своим он отдавал распоряжения с таким почтением и кротостью, что те сами приходили в смущение; мне рассказывали, что он никогда не выказывал властности, но обычно просил так: «Не могли бы вы сделать то-то, если вам удобно?» или «Если вам не в тягость, я просил бы об этой милости: сделайте, пожалуйста, вот это». Он говорил это с такой приятностью и состраданием к трудам слуг, что совершенно покори́л их сердца.

Он был столь стыдлив, что по утрам, пока камердинер помогал ему одеваться, лицо его всякий раз заливалось румянцем; он неизменно сидел, потупив взор, и едва показывал из-под одеяла кончик ступни, когда наступал черед надевать обувь: столь претило обнаруживать свою наготу. Ежедневно он слушал мессу, а по праздникам — и вечерню.

В ту пору он еще не имел понятия о мысленной молитве, но прилежал к молитве словесной: каждое утро и каждый вечер он читал «Ежедневное упражнение» и другие помянутые выше молитвы, неизменно на коленях и с великим вниманием. И хотя в то время он еще не имел четкого намерения оставить мир, однако принял твердое решение: оставаясь в миру, вести жизнь как можно более благочестивую. Вот к какой зрелости нравов пришел святой Алоизий в столь нежном возрасте, а ведь такого совершенства многие едва достигают лишь после многих лет иночества.

ГЛАВА IV. О том, как святой Алоизий был отозван в Мантую, где принял решение вступить на духовное поприще

Святой Алоизий пробыл во Флоренции более двух лет. Когда же светлейший дон Гульельмо, герцог Мантуи, назначил маркиза, его отца, губернатором Монферрата, тот пожелал, чтобы Алоизий вместе с братом Родольфо переехал на жительство в Мантую. Переезд совершился с благосклонного согласия Его Высочества герцога Тосканского в ноябре 1579 года; Алоизию в ту пору было одиннадцать лет и восемь месяцев.

Неуклонно следуя в Мантуе тем духовным упражнениям и тому образу жизни, начало которым он положил во Флоренции, он принял еще одно решение, не менее важное, чем прежние: уступить своему младшему брату Родольфо право на владение маркизатом Кастильоне, на которое он, как первенец, уже формально получил инвеституру от Императора. Принять это решение ему немало помог недуг, постигший его в то время, притом, что он и прежде, как уже говорилось, твердо решил не вступать в брак.

Болезнь его заключалась в затрудненном мочеиспускании. Опасаясь, что со временем недуг усилится, он, по совету врачей, постановил соблюдать строгую диету, дабы тем самым изнурить и иссушить дурные соки, кои почитались причиной сего недуга. Он предался постническому подвигу с такой суровостью, что оставалось лишь удивиться, как он не умер; ибо если случалось ему съесть за трапезой целое яйцо (что бывало весьма редко), он почитал это за пышный пир.

Такой строгий пост он держал не только ту зиму в Мантуе, но и, наперекор мнению врачей и всех домашних, всё последующее лето в Кастильоне. Делал же он это уже не ради здоровья, как полагали другие, но ради благочестия, в чем впоследствии, уже в Ордене, признавался отцу Джироламо Пьятти. Ибо если вначале он обратился к столь суровому воздержанию ради телесного исцеления, то мало-помалу привязался к этому подвигу и начал находить в нем духовную радость.

И если сей подвиг послужил ему к исцелению от прежнего недуга, от которого он более не страдал до конца своих дней, то во всём остальном он весьма повредил его здоровью. Из-за чрезвычайно скудного питания желудок его ослабел настолько, что впоследствии, даже имея на то желание, Алоизий не мог принимать пищу, а если и заставлял себя, то организм её не удерживал. Посему, если прежде он был крепким и цветущим мальчуганом, то отныне и навсегда остался изможденным и сухощавым. Природная крепость, коей он обладал благодаря доброму сложению, покинула его, и на смену ей пришло столь глубокое и продолжительное изнеможение, что всё его телесное естество было расстроено.

Однако из этого он извлек великую пользу для души, ибо недуг служил ему благовидным предлогом, дабы избегать многих развлечений, в коих он был бы принужден участвовать, будь он здоров. Посему он редко покидал дом, а если и выходил, то чаще всего ради того, чтобы посетить какой-нибудь храм или обитель и побеседовать с иноками о делах духовных. Также он навещал своего дядю, синьора Просперо Гонзага, и, едва переступив порог его дома, тотчас отправлялся в домашнюю часовню помолиться. Выходя же оттуда, он вступал с синьором Просперо и домочадцами в беседы о Боге с таким воодушевлением и глубиной, что повергал слушателей в изумление; посему уже тогда все почитали его за святого и взирали на него с восхищением.

Остальное время он проводил дома, уединенно и замкнуто: читал то «Жития святых», написанные Сурием¹ (чтение это доставляло ему великое удовольствие), то Оффиций и предавался иным духовным упражнениям.

Он настолько умножил эти занятия, что, всё более тяготясь всякого рода светскими беседами и всё сильнее прилепляясь к уединенной жизни, наконец твердо решился уступить права на маркизат Родольфо и вступить в духовное сословие. Сделал он это не ради стяжания церковных почестей (ибо, сколько бы их ему ни предлагали впоследствии разные лица при различных обстоятельствах, он всегда решительно их отвергал), но единственно ради того, чтобы в этом звании, обретя мир и свободу, всецело посвятить себя служению Божию.

Утвердившись в сем намерении, он начал побуждать маркиза, своего отца, освободить его от придворных обязанностей, дабы беспрепятственно предаться наукам, не открывая, однако, ему своего решения стать духовным лицом.

¹ Речь идет о знаменитом труде «*De probatis Sanctorum historiis*» («О достоверных историях святых»), составленном немецким монахом-картезианцем Лаврентием Сурием (*Laurentius Surius*, 1522–1578). Первое издание вышло в Кёльне в 1570–1575 годах в шести томах. Это был мощный ответ католического мира на критику протестантов, которые отвергали почитание святых и называли жития «бабьими сказками». Сурий поставил цель собрать достоверные и проверенные свидетельства, чтобы защитить традицию Церкви. Для людей того времени, таких как юный Алоизий, это не было просто историческое чтение. Это был учебник святости. Сурий писал живо и назидательно, представляя святых как живые иконы и образцы для подражания. В конце XVI века это было самое авторитетное и полное собрание житий (предшественник знаменитых *Acta sanctorum* болландистов). То, что семилетний мальчик читал (или ему читали) именно Сурия, говорит о высокой духовной культуре в его окружении и о том, что он воспитывался на «твердой пище» католической традиции.

ГЛАВА V. О том, как святой Алоизий вернулся в Кастильоне, где получил от Бога дар молитвы и начал часто приступать к Святым Тайнам

По прошествии зимы, следуя обычаю князей дома Гонзага ежегодно покидать Мантую на время летнего зноя, маркиз распорядился, чтобы Алоизий с младшим братом отправились в Кастильоне. Он надеялся, что родной воздух, весьма здоровый сам по себе, послужит к исцелению первенца лучше, нежели воздух Мантуи.

И без сомнения, прелесть тех мест, расположенных на солнечном холме с прекраснейшим видом, могла бы совершенно восстановить его силы, если бы Алоизий согласился хоть немного смягчить строгость подвига, начатого в Мантуе, тем более что госпожа маркиза, его матушка, окружала своего первенца неусыпной заботой. Однако он, пекшись о здравии души более, нежели о здравии тела, ни в чем не ослабил своих духовных упражнений, но, напротив, умножил их. По-прежнему храня строжайшее воздержание, он почти всё время проводил в уединении, избегая всякого общения, дабы беспрепятственно предаваться молитве.

И так как с каждым днем он всё более отрешался от мира, дабы соединиться с Богом, то Господь, милостиво воздающий тем, кто верно Ему служит, не преминул явить, сколь угоден Ему сей благочестивый порыв двенадцатилетнего отрока. До сего времени Алоизий, не имевший наставника, был неопытен в умной молитве и созерцании, и потому Сам Бог изволил стать его Учителем. Встретив в сей душе чистоту и благорасположение, Господь открыл ей глубины божественных тайн и ввел её в Свои сокровенные драгоценные чертоги. Просветив разум Алоизия сверхъестественным небесным светом, Он научил его размышлять о величии и чудесах Божиих и созерцать их столь возвышенно, как не смогло бы научить никакое человеческое усердие.

Алоизий, увидев, что пред ним милосердно отверзлась сия дверь и открылось пространное поприще для утоления жажды духовной, стал проводить почти целые дни в размышлениях: то о святейших тайнах нашего искупления, то о величии божественных совершенств. Он находил в этом такое глубокое утешение и сладость, что почти непрестанно проливал обильные слезы, коими насквозь промокала его одежда, да и пол в комнате увлажнялся. По этой причине он большую часть дня оставался взаперти у себя, опасаясь, что если выйдет, то либо утратит сей тонкий молитвенный дух, либо другие, заметив его слезы, помешают непрерывной молитве.

Однако слуги, приставленные к его покоям, примечали это и нередко подсматривали в дверные щели, взирая на него с изумлением. Они видели, как он по многу часов кряду стоял в низком поклоне перед Распятием, то раскинув руки крестом, то сложив их на груди; глаза его были неподвижно устремлены на образ Христа, и плакал он так горько, что снаружи были слышны его вздохи и рыдания. Затем он внезапно затихал и замирал, словно восхищенный в тихом и недвижном исступлении духа, не шевелясь и не мигая, подобный изваянию. В эти мгновения он был настолько отрешен от чувств, что если воспитатель или слуги входили в комнату и шумели, он ничего не слышал и не замечал. Когда же вести об этом стали распространяться, другие люди, не принадлежавшие к числу домашних, тоже просили дозволения взглянуть на него сквозь те же щели и отходили потрясенные увиденным.

Близкие не раз слышали, как, поднимаясь по лестнице, он на каждой ступени произносил *Ave Maria*. В доме ли, на улице, в карете или пешком — он всегда пребывал в молитве, размышляя о какой-либо небесной тайне. И в этом упражнении святой Алоизий не имел иного учителя, кроме помазания Духа Святого.

И хотя он уже умел размышлять, однако не знал еще, какого порядка держаться и какой предмет избрать. Но однажды ему в руки случайно попала книжица о. Петра Канизия¹ из Общества Иисусова, в которой содержались некоторые пункты для размышления, расположенные по порядку.

Эта книжица не только укрепила его в радении о молитве, но и научила, какого способа в ней держаться и сколько времени ей уделять. И хотя тогда у него еще не было для сего определенного часа, он посвящал молитве то больше, то меньше времени, смотря по тому, как позволяли обстоятельства и куда влекло его духовное рвение; однако он неизменно обретал в ней великий свет для разума, а сердце его наполнилось горячими порывами и сладостью.

Эта книжица, а также «Письма из Индий» (как он сам рассказывал впоследствии), внушили ему немалую любовь к Обществу Иисусову. Книга — потому что ему весьма понравился метод и тем более дух, в котором она была написана, ибо он, как ему казалось, весьма сообразовался его складу души. Письма же — потому что из них он узнавал о трудах, которые Бог совершал в тех краях через отцов Общества ради обращения язычников. И он сам воспламенялся желанием посвятить свою жизнь подобным трудам ради спасения душ, которые столь дорого стоили Богу (ср. 1 Кор 6:20; 1 Пет 1:18–19).

Посему, насколько мог, он уже в том отроческом возрасте старался содействовать спасению ближних. Всякий праздничный день он ходил в катехизаторские школы и с ревностью наставлял других детей в истинах веры и добрых нравах. Делал он это с такой скромностью и смирением, с любовью снисходя ко всем младшим, и в особенности к детям из бедных семейств, что каждый, кто его видел, чувствовал благоговение перед Божиим Величеством.

Кроме того, если он видел, что среди дворни назревает раздор, он старался примирить слуг. Если слышал, как кто-нибудь произносит хулу или непристойное слово, делал выговор. Если узнавал, что в вотчинных землях есть люди дурного поведения, он благосклонно увещевал их и старался, чтобы они исправились, ибо не мог снести, чтобы оскорбляли Бога.

Беседы его неизменно были посвящены предметам божественным, и вел он их с такой мудростью, что, когда он сопровождал маркизу, свою матушку, в Тортону для визита к герцогине Лотарингской (проезжавшей там с дочерью, герцогиней Брауншвейгской), придворные сей государыни приходили в изумление. Внимая ему, они говорили: не видя говорившего, всякий счел бы его за мудрого старца, а не за отрока — столь верно и возвышенно рассуждал он о Боге.

Между тем шел 1580 год. Святой кардинал Карл Борromeо, архиепископ Милана, назначенный Его Святейшеством Папой Григорием XIII (блаженной памяти) апостольским визитатором епархий сей провинции, совершал в ту пору визитацию диоцеза Брешии. В июле он прибыл в Кастильоне всего лишь с семьей спутниками, ибо не желал водить за собой большую свиту, дабы не обременять расходами духовенство, которое посещал.

Помимо многих иных апостольских трудов в Кастильоне, он пожелал также 22 июля, в день памяти св. Марии Магдалины, проповедовать народу на архиерейской литургии. Святой произнес весьма плодотворную проповедь в церкви свв. Назария и Цельсия, главной в том краю, но сколько бы ни просили его от имени местных князей

остановиться в Замке (Росса), где они жили, он так и не согласился, предпочтя остановиться в доме архипресвитера, рядом с церковью.

Там его посетил святой Алоизий, которому в то время было двенадцать лет и четыре месяца. Кардинал испытал великую радость, видя сего ангела во плоти, столь щедро одаренного Богом, и долго беседовал с ним наедине в своей комнате о предметах божественных, из-за чего все ожидавшие снаружи были изумлены.

Добрый кардинал утешался, видя, что сей нежный росток, взросший посреди терний мирских дворов без попечения земного садовника, одной лишь небесной силой стал весьма крепок и прекрасен, достигнув изрядной высоты христианского совершенства.

Святой же отрок радовался, обретя наставника, коему мог с полным доверием открыть сердце и у которого мог искать разрешения сомнений, возникавших в духовной жизни. Зная, что кардинала повсеместно почитают как святого, он внимал его словам и наставлениям о том, как следовать далее по начатому пути, с таким благоговением, словно они исходили от божественного прорицателя.

Святой Карл осведомился, приступал ли Алоизий уже к Святому Причастию. Узнав, что еще нет, кардинал, прозревший чистоту его жизни и зрелость суждений, а также уразумевший, сколь великим светом в делах небесных одарил его Бог, не только побудил его начать причащаться, но и изволил сам преподавать ему Святые Дары в первый раз. Затем он увещевал отрока прибегать к Таинству почаще, дав краткое наставление о том, как надлежит готовиться и приступать к сему Источнику благодати.

Кроме того, он советовал ему прилежно читать «Римский Катехизис», изданный по распоряжению святой памяти Папы Пия V во исполнение декрета Тридентского собора. Святой кардинал столь высоко ценил эту книгу за изящество латинского слога, что полагал, будто её следует изучать в школах вместо Цицерона и иных светских авторов, дабы вместе с латынью в юношах вселялось и благочестие. Он даже ввел было этот обычай в своей семинарии в Милане, но впоследствии, убедившись на опыте, что это не приносит желаемого плода, переменял решение и велел вернуться к прежним авторам. Наконец, он отпустил Алоизия, преподав ему множество благословений и явив знаки особого расположения.

Блаженный отрок свято хранил в памяти наставления святого кардинала и с тех пор с великим духовным радением прилежал к чтению Катехизиса. Книга сия была дорога ему не только здравым учением, но и тем, что была преподаана самим святым мужем, к коему Алоизий питал глубочайшее благоговение. Ссылаясь на высокий авторитет кардинала, он и другим советовал обращаться к этому труду.

Вскоре он начал приступать к Святым Тайнам. Невозможно описать, с каким тщанием он готовился к достойному принятию сего Божественного Таинства. Прежде всего он со всей строгостью испытывал совесть, опасаясь, как бы не осталось в душе ничего, что могло бы оскорбить взор Божественного Гостя, Коего он готовился принять под свой кров (ср. Мф 8:8).

Затем он шел на исповедь, которую совершал с таким смирением, сокрушением и слезами, что сам духовник исполнялся благоговения и поучался от него. Грехи Алоизия заключались не столько в содеянном зле, сколько в упущениях; ему всегда казалось, что дела его бесконечно далеки от того света, коим Господь просвещал его разум, призывая к высшему совершенству.

В дни, предшествовавшие причастию, все его думы и речи были заняты лишь Пресвятым Таинством; о Нем он читал и к Нему устремлял все размышления. Молитва его была столь ревностной, что домашние говаривали, будто он предпочитает беседовать со стенами — так часто заставляли его коленопреклоненным то в одном, то в другом покое дома.

Лишь единому Богу, смотрящему на сердце (ср. 1 Цар 16:7), ведомо, сколь пламенны были порывы любви и сокровенные движения благочестия, коими полнилась душа Алоизия во время Святой Трапезы — как в первый раз, так и во все последующие; мне же не удалось найти никого, кто мог бы доподлинно об этом поведать. В материалах процесса канонизации я нашел лишь краткое упоминание о том, что при совершении Таинства дух его пребывал в состоянии высочайшего бодрствования, а сам он исполнялся несказанного внутреннего утешения. Внешнее же его благоговение было столь глубоко, что, приняв Святые Тайны, он еще долго оставался в храме на коленях перед лицом всего народа. С тех пор он стал приступать к Святому Причастию весьма часто.

Госпожа маркиза, его матушка, добавляет к этому еще одно примечательное свидетельство, подтвержденное впоследствии и другими очевидцами. С того времени Алоизий проникся столь нежной любовью к Пресвятому Таинству Алтаря, что каждое утро за мессой, едва лишь священник совершал пресуществление святой гостии, он начинал так горько плакать, что слезы его ручьями стекали на пол. Сей дар слез не оставлял его до конца дней, и еще обильнее проливал он их в праздники, когда сам сподоблялся причащаться Святых Тайн.

¹ Св. Петр Канизий (1521–1597, пам. 31 дек.) — священник из Общества Иисусова, выдающийся богослов, прозванный «вторым апостолом Германии» за труды по защите и укреплению католической веры в эпоху Реформации. Впоследствии провозглашен Учителем Церкви.

ГЛАВА VI. О том, как Алоизий отправился в Монферрато, как в пути он подвергся смертельной опасности и как принял решение вступить в Орден

В то время как маркиз дон Ферранте находился в Казале-Монферрато, месте обычного пребывания губернаторов, ему написали из Кастильоне, что Алоизий, хотя и излечился (как полагали) от своего первого недуга, однако из-за чрезмерного воздержания настолько ослабел и до такой степени расстроил желудок, что едва мог принимать и удерживать пищу, не говоря уже о том, чтобы её переваривать. Состояние его не улучшалось, ибо сам он несколько не заботился о своем телесном здравии.

Маркиз, коего сильно заботили жизнь и здоровье первенца, надеялся, что если тот будет при нем, ему легче будет излечить сына или хотя бы не дать болезни зайти слишком далеко. Посему он распорядился, чтобы Алоизий вместе с госпожой маркизой и Родольфо приехали к нему. И вот, в конце лета того же 1580 года они покинули Кастильоне и направились в Монферрато.

В этом путешествии Алоизий подвергся настоящей смертельной опасности. Случилось это при переправе вброд через рукав реки Тичино, через который лежал их путь: в те дни из-за дождей река сильно разлилась. Карета, в которой Алоизий ехал вместе с Родольфо и воспитателем, посреди воды разломилась надвое. Передняя часть, где находился

Родольфо, осталась прицепленной к лошадям, и те не без труда и опасности вывезли её на тот берег, куда уже переправились другие кареты. Задняя же часть, в которой сидел Алоизий с воспитателем, была подхвачена неистовством вод и увлечена течением на значительное расстояние, что грозило обоим неминуемой гибелью. Несомненно, если бы она перевернулась или пошла ко дну, Алоизий бы утонул.

Однако Божественное провидение, с особенным попечением хранившее сего святого отрока, пожелало, чтобы этот обломок кареты наткнулся на толстый древесный ствол, принесенный рекой на середину течения. Там их удерживало до тех пор, пока те, кто уже перебрался на другой берег, не позвали местного жителя, знатока тамошних мест и реки. Тот верхом на коне вступил в воду и, подхватив Алоизия, посадил его на круп и доставил в целости на берег, а затем вернулся за воспитателем.

Сразу после этого все отправились в церковь, находившуюся неподалеку, дабы молитвенно возблагодарить Бога, избавившего их от столь великой беды. Между тем разнесся слух, будто они утонули. Госпожа маркиза, ехавшая в первой карете впереди, услышав сию весть, в великой тревоге и скорби поворотила назад. Молва долетела даже до Казале, достигнув слуха маркиза, который немедленно отправил нарочного, дабы выведать правду, и не знал покоя, пока не удостоверился в их спасении. Впрочем, вскоре его горесть сменилась радостью при виде прибывших супруги и сыновей.

Св. Алоизий пробыл в Казале-Монферрато более полугода. Помимо прилежных занятий латынью, в коей он к тому времени уже весьма преуспел, он достиг еще большего преуспевания в духе. В сем ему немало способствовало благочестивое общение с отцами св. Павла Обезглавленного (коих в народе именуют барнабитами — по названию их первой церкви св. Варнавы в Милане, где и зародился сей Орден). Часто беседуя с ними и прибегая в их храме к таинствам исповеди и Святого Причастия, он в короткое время сподобился великого просвещения для дальнейшего следования путем Божиим.

Добродетельные труды Алоизия предуготовляли его сердце к принятию новых небесных даров; Господь же, озаряя его душу божественным светом и святыми внушениями, возносил отрока к желанию высшего совершенства, всё более отрешая его от привязанностей земных.

Маркиз поначалу всячески пытался отвлечь сына светскими забавами и развлечениями, но Алоизий оставался непоколебим в своих духовных упражнениях. Единственной отрадой для него стали частые паломничества к близлежащей и глубоко чтимой святыне — храму Мадонны ди Креа¹. Также он охотно уединялся в обителях отцов капуцинов или барнабитов; чувствуя в беседах с иноками живое созвучие своему духу, он, казалось, не в силах был с ними расстаться.

Его глубоко трогало неизменное сердечное веселие иноков, их совершенное небрежение к земным благам и строгое благочиние молитв и псалмопения. Сердце Алоизия пленял безмолвный покой этих обителей и то святое бесстрастие, в коем монахи не более пеклись о жизни, нежели о смерти.

Пример иноков не давал Алоизию покоя, и в нем всё сильнее разгоралось желание избрать для себя ту же долю. Однажды, придя в обитель отцов барнабитов и погрузившись в размышления о блаженстве монашеского чина, он представил, как люди, отрекшиеся от мира и сложившие с себя всякое попечение о временном ради беспрепятственного служения Богу, тем самым вверяют себя Его отеческому попечению.

Тогда он стал рассуждать в сердце своем, о чем он сам впоследствии не раз вспоминал в Риме:

«Взгляни, Алоизий, — говорил он себе, — сколь великое благо сокрыто в иноческой жизни! Эти отцы свободны от мирских тенет и удалены от всякого повода ко греху. Время, которое люди века сего растрачивают впустую в погоне за призрачными благами и суетными удовольствиями, иноки всецело и с великой пользой обращают на стяжание истинных сокровищ небесных. Душа их спокойна, ибо они знают: их святые труды не канут в вечности. Истинно монахи — это те, кто живет по разуму, не позволяя чувствам и страстям тиранить себя.

Они не ищут почестей и не дорожат тленным богатством; им неведом дух соперничества и зависть к чужому достоянию. Они довольствуются лишь служением Богу, ибо служить Ему — это поистине царствовать. Стоит ли дивиться их неизменной радости? Они не страшатся ни смерти, ни суда, ни ада, ибо совесть их чиста, и день за днем они лишь преумножают небесную мзду, пребывая в общении с Богом или в трудах ради Него. Свидетельство доброй совести (ср. 2 Кор 1:12) хранит их во внутреннем мире, и безмятежность эта отражается даже на их лицах. Кого не утешит столь твердая надежда на небесное блаженство и память о том, Кому они служат и при чьем Дворе предстоят?

А что же делаешь ты? О чем помышляешь? Что мешает тебе избрать ту же стезю? Вспомни о великих обетованиях Господних. Подумай, сколь легко здесь будет предаваться молитве, не зная помех.

Даже если ты, согласно своему решению, уступишь права на маркизат Родольфо, но пожелаешь остаться при нем мирянином, ты неизбежно станешь свидетелем многого, что тебе не по нраву. Станешь молчать — совесть будет терзать тебя упреками; решишься говорить — лишь вызовешь досаду, или же слова твои останутся втуне. Но даже если ты примешь сан и станешь священником, ты не достигнешь своей цели. Напротив, возложив на себя обязательство жить праведнее мирян, ты останешься среди тех же мирских соблазнов, а в чем-то подвергнешься даже большим искушениям, нежели люди семейные. Тебе не избежать законов света: живя в миру, ты будешь вынужден считаться с людской молвой, угождая то одному, то другому господину. Если ты перестанешь общаться с дамами из числа своих знатных родственниц, тебя сочтут странным; если же продолжишь беседы с ними — нарушишь свое первое решение (т. е. обет чистоты). Если ты согласишься на высшие церковные должности, то погрузишься в мирские дела еще глубже, чем сейчас; если же отвергнешь их, твои же близкие назовут тебя никчемным, скажут, что ты бесчестишь свой род, и станут тысячью способов принуждать тебя к их принятию.

Если же ты станешь иноком, ты одним ударом разрубишь все эти путы, затворишь двери перед опасностями, сбросишь бремя мирских приличий и обретешь возможность вечно наслаждаться совершенным покоем, служа Богу во всей полноте совершенства».

Эти мысли всецело завладели умом Алоизия; несколько дней он ходил словно отрешенный, не замечая ничего вокруг. Домашние видели, что в душе отрока зреет некое важное решение, ибо он постоянно пребывал в глубокой задумчивости, но расспрашивать его не дерзали. Наконец, вознеся множество молитв о просвещении свыше и многократно причастившись с тем же намерением, Алоизий ощутил в сердце явственный призыв Божий и твердо решил оставить мир. Он положил вступить в монашеский орден, дабы к уже принесенному обету девства присоединить обеты послушания и евангельской бедности.

Ему еще не исполнилось тринадцати лет, и он не мог тотчас исполнить задуманное. Посему он не стал пока избирать определенный орден или открывать кому-либо свою тайну (хотя отцы-барнабиты уже догадывались о ней, надеясь видеть его в своих рядах). Однако Алоизий решил, оставаясь при дворе, вести жизнь истинно иноческую.

Он стал проводить в своей комнате гораздо больше времени. При своей худобе он сильно страдал от холода: зимой руки его от стужи опухали и покрывались болезненными трещинами, отчего в его покое прежде всегда топили камин. Теперь же он запретил разводить у себя огонь. Он никогда не подходил к очагу, а если в кругу семьи приличия вынуждали его приблизиться к теплу, он выбирал место, где жар до него не доходил. Когда же сердобольные слуги приносили целебные мази для лечения рук, он с благодарностью принимал их, но не использовал, желая претерпеть это малое страдание ради любви к Богу.

Он всячески избегал многолюдных собраний, а уж тем паче театральных представлений, пиров и празднеств. Напрасно маркиз, его отец, пытался — то уговорами, то угрозами — отвлечь его от затворничества и заставить бывать в обществе, Алоизий оставался непреклонен. Когда домашние уезжали на торжества, он оставался один, предаваясь молитве или беседам с мудрыми и учеными людьми о науках и благочестии. Часто навещал он отцов капуцинов или барнабитов, находя в святом общении с ними истинную отраду, ибо мирские утехи потеряли для него всякую цену.

Однажды маркиз взял сына с собой в Милан на смотр кавалерии, где обязан был присутствовать по своему званию вместе с прочей знатью. Зрелище это, столь редкое и красочное, привлекло бесчисленное множество народа. Алоизий не мог уклониться от поездки, не прогневав отца, чья воля была непреклонна, однако нашел способ оградить свои чувства. Он наотрез отказался занять почетное место в первых рядах, откуда удобнее всего было наблюдать за парадом, и во все время действия старался либо вовсе не поднимать глаз, либо отводить взор в сторону.

Можно сказать, что детские годы он прожил, не будучи ребенком, ибо никто не замечал в нем и тени свойственного этому возрасту легкомыслия. Он никогда не касался книг пустых или непристойных; отрадой ему служили «Жития святых» Сурия и Липпомано², а из светских авторов он читал лишь писавших о нравах — Сенеку, Плутарха да Валерия Максима.

Почерпнутые у них примеры он использовал, дабы побуждать других к жизни честной и христианской. Порой он рассуждал о добродетелях и предметах божественных — будь то в многолюдном собрании или в беседе наедине — с такой рассудительностью, красноречием и жаром, что слушатели диву давались. Говорили даже, что знание сего отрока, должно быть, влито свыше, ибо оно явно превосходило меру детского разумения.

Оттого и домашние, хотя и видели его подвижничество и, быть может, не одобряли столь великой суровости, уединения и отвращения к миру, все же, благоговевая перед его необычайным благоразумием и добродетелью, не смели докучать ему вопросами: «Зачем ты поступаешь так?», но предоставляли ему полную свободу.

¹ *Сакро-Монте-ди-Креа (Sacro Monte di Crea) — знаменитое святилище в Монферрато, расположенное на высоком холме. В то время это было одно из самых почитаемых мест паломничества в Северной Италии. «Святая Гора» (Sacro Monte): Это особый тип*

архитектурно-религиозного комплекса. На холме выстроены капеллы (в Креа их в итоге стало более двадцати), в каждой из которых с помощью скульптур и фресок изображены тайны Розария или события из жизни Пресвятой Девы Марии. Строительство комплекса в том виде, который застал Алоизий, началось как раз в конце XVI века (около 1589 года), но само почитание Мадонны на этом месте восходит к глубокой древности. Это святилище существует и сегодня, оно включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

² Луиджи Липпомано (Luigi Lippomano, 1500–1559) — итальянский епископ (Вероны) и агиограф, один из видных деятелей Контрреформации. Его главный труд — восьмитомное собрание житий святых «*Sanctorum priscorum patrum vitae*» («Жития древних святых отцов»), изданное в Венеции в 1551–1560 годах. Липпомано был предшественником Сурия; его целью было собрать серьезные, исторически достоверные жития, чтобы защитить культ святых от критики протестантов.

ГЛАВА VII. О том, как св. Алоизий возвратился с отцом в Кастильоне, о его строжайшей жизни и о том, как он чудесным образом спасся от пожара

По окончании срока службы маркиза на посту губернатора Монферрато он со всем семейством возвратился в Кастильоне. Здесь св. Алоизий не только пребыл верен своим обычным суровым подвигам и молитвам, но и настолько умножил их, что остается лишь дивиться, как он не впал в тяжкий недуг, окончательно сокрушающий плоть. Поразительно и то, что близкие, видя его изнурение, не воспретили ему это своей властью.

Помимо строгого воздержания, начатого еще в Мантуе и ставшего для него неизменным правилом, он наложил на себя обычай поститься по меньшей мере трижды в неделю. Каждую субботу он постился в честь Пресвятой Девы; по пятницам же — в память о Страстях Спасителя — он неизменно оставался лишь на хлебе и воде. Утренняя его трапеза в такие дни состояла лишь из трех ломтиков хлеба, размоченных в воде, а вечером он довольствовался единственным куском сухаря, также смоченного. По средам он также нередко соблюдал строгий пост на хлебе и воде, либо же следовал общепринятому церковному уставу. Помимо сих трех дней он налагал на себя и иные, внеочередные, посты когда представлялся к тому случай или когда к новым подвигам его понуждало пламенное радение о вере.

Алоизий вкушал столь мало, что некоторые из придворных, недоумевая, как в нем еще теплится жизнь, решили однажды тайно взвесить его трапезу. Под присягой они засвидетельствовали: весы показали, что всё съеденное им за раз, включая хлеб и приварок, не потянуло и одной унции. Столь великая скудость явно превосходила пределы естественных сил человеческого естества, так что надлежало признать: Сам Господь чудесно поддерживал в нем жизнь, как случалось то и с иными святыми. Ибо не представляется возможным без содействия чрезвычайной благодати сохранять жизненные силы при столь скудном пропитании.

Находясь за общим столом, он неизменно выбирал то кушанье, что казалось ему худшим; отведав его лишь самую малость, он более ни к чему не прикасался. В последние годы он повелел, чтобы даже ту скудную пищу, которую он принимал в дни, свободные от поста, взвешивали. Он утверждал, что человеку довольно лишь того, что поддерживает жизнь, а всего прочего надлежит избегать как излишества, — столь строго он соблюдал меру во всем. Обо всем, что касалось его трапезы, под присягой свидетельствовали виночерпий, столыжник и иные слуги, через чьи руки проходила его пища.

К столь суровому воздержанию он присовокуплял и иные телесные умерщвления. По меньшей мере трижды в неделю он бичевал себя до крови. В последние же годы жизни в миру он предавался этому подвигу ежедневно, а порой и трижды в сутки. Не имея поначалу настоящего бича, он наказывал плоть то собачьими сворками, которые случайно находил в доме, то обрывками веревок, а некоторые утверждают, что и железной цепью. Слуги, убиравшие его покои, не раз заставляли его на коленях во время самобичевания, а поправляя постель, находили спрятанные под подушкой окровавленные веревки. Маркизе не раз приносили рубахи сына, совершенно пропитанные кровью; когда же об этом узнал отец, он со скорбью сказал супруге: «Сын сам ищет смерти».

Желая лишиться себя покоя даже во время сна, Алоизий часто тайно клал под простыни доски или обрубки дерева. Дабы же и днем плоть его пребывала в непрестанном сокрушении (ср. Гал 5:24), он за неимением власяницы носил на голом теле — вещь неслыханная! — кавалерийские шпоры. Острые зубцы их железных звезд впивались в его нежную кожу, причиняя жестокие муки. Из сего можно заключить, с какой решимостью он посвятил себя духовной жизни, если в возрасте тринадцати с половиной лет, окруженный придворной роскошью и не имея земного наставника, он столь сурово обходился со своим телом.

К суровому воздержанию и телесным подвигам святой юноша присовокуплял и умственные упражнения, в особенности же молитву. В ней он был столь усерден, что некоторые придворные чины в своих показаниях для процесса канонизации утверждали: когда бы они ни входили в его покои, всякий раз заставляли его молящимся, и нередко им подолгу приходилось ждать за дверью, пока он не закончит. Каждое утро, едва восстав от сна, он посвящал час умной молитве, меряя её не временем, но пламенем сердца и набожностью; затем он прочитывал иные свои обычные устные молитвы. Ежедневно он слушал одну или несколько месс, часто прислуживая при них с искренним сердечным расположением. Кроме того, он посещал божественные службы вместе с местными иноками, служа всем великим примером и назиданием.

Остальное время он проводил по большей части взаперти, либо читая духовные книги, либо предаваясь размышлению и созерцанию. Вечером же, прежде чем отойти ко сну, он обычно проводил в молитве один или два часа кряду и, казалось, не в силах был положить ей предел. Слуги, ожидавшие за дверью, дабы приготовить его ко сну, не только не тяготились долгим ожиданием, но и сами обретали в том духовную пользу. Порой они сквозь щели в дверях взирали на его молитвенное рвение и, тронутые святым примером господина, тут же принимались молиться.

Словом, он пребывал в столь глубоком уединении и так часто предавался размышлениям, что можно по праву сказать: жизнь его была непрестанной молитвой (ср. 1 Фес 5:17). Господин маркиз, отец его, не раз сетовал, что не может выманить сына из комнаты. Он признавался отцу Просперо Малавольте, что часто видел пол, буквально залитый слезами отрока в том месте, где тот преклонял колени. Даже когда обязанности принуждали Алоизия покидать свое затворничество, дух его не рассеивался: всё, о чем он размышлял поутру, будь то Страсти Господни или иные божественные тайны, столь глубоко запечатлевалось в его сердце, что при любых занятиях мысль его оставалась неотступно прикована к предмету созерцания.

Не довольствуясь молитвой вечерней и дневной, он стремился бодрствовать и созерцать еще и ночью (ср. Пс 118:62). Посему он обычно вставал в полночь так тихо, что никто из домашних того не слышал. И пока другие покоились в своих постелях, он во тьме и

безмолвием ночи опускался на колени и стоял посреди комнаты в одной лишь сорочке, ни на что не опираясь. Так проводил он добрую часть ночи в святом созерцании — и делал это не только летом, но и в самую суровую пору зимней стужи, столь лютой в Ломбардии. От сильного холода он дрожал всем телом с головы до ног, и эта дрожь порой мешала ему собраться с мыслями. Видя в этом некую слабость, он решил во что бы то ни стало превозмочь немощь плоти и с такой силой понуждал себя к сосредоточению, что, пребывая в молитвенном восторге, переставал чувствовать мучительную стужу.

Правда, после такого бдения силы его иссякали настолько, что от великой немощи он не мог более устоять на коленях. Не желая, однако, искать облегчения и на что-либо опираться, он в одной сорочке падал прямо на холодный пол и, простершись, продолжал свои размышления. Поистине чудесно, что он не впал тогда в смертельный недуг и не замерз вовсе. Впоследствии, уже в Ордене, он сам доверительно рассказывал некоторым близким братьям об этих своих былых «безрассудствах» (как он их называл), вспоминая, что порой, когда он вот так лежал на полу, то доходил до такого изнеможения, что не имел сил даже сплюнуть скопившуюся во рту слюну¹ и был вынужден её проглатывать.

От чрезмерного напряжения, с коим св. Алоизий понуждал себя к молитвенному сосредоточению, у него начались жестокие головные боли, не оставлявшие его до самой смерти. Однако из любви к страданию и желая хотя бы малой долей уподобиться Христу Господу в Его муках от тернового венца (ср. Мф 27:29), он не только не искал облегчения, но, напротив, старался сберечь и даже преумножить эту боль. В ней он видел живое напоминание о Страстях Господних и залог небесных наград; в остальное же время болезнь не препятствовала его трудам.

Случилось, однако, так, что однажды вечером приступ стал нестерпимым, и Алоизию пришлось лечь в постель раньше обычного часа. Но уже в постели он вспомнил, что не прочел в тот день семь покаянных псалмов (Пс 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142), как то было у него заведено. Решив не смыкать глаз, пока не исполнит правила, он велел камердинеру поставить у кровати свечу и отпустил его. Окончив чтение, Алоизий, изнуренный болью и сном, уснул, так и не погасив свечу.

Свеча выгорела до самого основания, и огонь перекинулся на край постели. Пламя медленно расползлось, пока не охватило всё ложе; сгорел и полог, и соломенный тюфяк, и три матраса. Среди этого пожара Алоизий пробудился и, почувствовав нестерпимый жар, сперва решил, что у него начался лихорадочный бред — ведь спать он ложился с сильнейшей головной болью. Однако, коснувшись руками и ногами других частей постели и везде наткнувшись на тот же жар, он крайне изумился, не понимая, откуда взялся этот зной.

Он попытался было уснуть снова, но не смог. Тем временем жар усиливался, а густой дым начал его душить. Решившись встать, Алоизий отворил дверь комнаты, дабы позвать кого-нибудь из слуг. Стоило ему переступить порог, как от притока воздуха огонь вспыхнул с новой силой и мгновенно уничтожил всё, что осталось от постели. Прибежавшие на шум солдаты из крепостного гарнизона выкинули пылающее ложе в ров через окно, дабы пожар не уничтожил всё здание.

Вне всякого сомнения, задержись он в постели еще на мгновение, он либо сгорел бы заживо, либо задохнулся в дыму, тем более что келья его (я видел её своими глазами) была совсем тесной и плотно запертой. Но Бог, призвавший его к иноческой жизни и ведавший, ради чего Алоизий подвергал себя такой опасности, по Своему милосердному

промыслу оградил его от гибели. Посему все домашние единодушно сошлись на том, что спасение его было плодом явного чуда Божия.

Вскоре слухи о чудесном спасении первенца маркиза достигли двора в Мантуе. Спустя некоторое время Мадам² Элеонора Австрийская лично расспросила об этом Алоизия. Тот же немало смутился, узнав, что происшествие получило огласку: вероятно, он опасался, как бы не открылась истинная причина, по которой он оставил свечу зажженной.

Уже не раз испытал на себе особое попечение и защиту Божию, Алоизий при всяком случае, будь то в делах маркиза, своего отца, или в своих собственных, прежде всего прибегал к молитве. Он всецело предавал себя в руки Божии, моля Его Божественное Величество, Которому всё ведомо (ср. Пс 138:1–4), «управить обстоятельства так, как будет лучше для пользы дела». Именно в таких словах он обычно вверял Богу каждое свое начинание.

И упование на Господа никогда не посрамляло его (ср. Рим 5:5). Сам он свидетельствовал о поистине чудесном обстоятельстве: ни одно начинание, великое или малое, которое он вручал Богу, не оканчивалось иначе, чем он того желал. Это неизменно подтверждалось даже в самых запутанных делах, когда по человеческому разумению надежды не оставалось вовсе — столь милостиво Господь внимал каждой его молитве.

Благодаря этому столь частому общению с Богом Алоизий стяжал дар, который он ценил превыше всех иных — необычайно возвышенную свободу духа. Обладая им, он презирал и вменял ни во что всё, что только есть в подлунном мире. Когда в княжеских чертогах или при дворах он видел обилие золота и серебра, пышное убранство покоев, подобострастие царедворцев и тому подобные вещи, едва мог удержаться от смеха: столь ничтожными и совершенно недостойными казались ему предметы, которыми люди так дорожат.

В доверительных беседах с маркизой, своей матушкой, Алоизий часто делился неизменным изумлением: он никак не мог взять в толк, почему не каждый избирает для себя иноческий путь. «Ведь совершенно очевидно, — рассуждал он, — сколь великое благо приносит монашество не только в вечности, но и в здешней жизни. Мирская же суэта губительна и в нынешнем веке, и в грядущем, и к тому же она столь скоротечна». Слушая сына, государыня уже тогда прозревала его грядущее решение, однако до поры хранила молчание.

Общался он в ту пору почти исключительно со священниками и иноками Кастильоне. Едва до него доходил слух, что в город навестить родные края прибывают знатные уроженцы этих мест, избравшие монашеский путь в различных орденах, он тотчас навещал их, дабы побеседовать о Боге. Он с великим благоговением хранил освященные четки, медальоны *Agnus Dei* и иные святыни. Особую радость дарили ему встречи с монахами-бенедиктинцами Монтекассино (их показания о благочестии Алоизия позже легли в основу процесса канонизации в Модене).

Не меньше тянулся он и к отцам-доминиканцам, которые летом приезжали в Кастильоне на отдых. С ними он вел долгие душевные беседы. Среди них был преподобный отец Клаудио Фини из Модены, доктор богословия и прославленный в Ломбардии проповедник. В своих показаниях, данных под присягой суду епископа Модены незадолго до смерти, он оставил следующее свидетельство:

«Мне довелось близко знать светлейшего дона Алоизия Гонзага, наследника маркизата Кастильоне, и не раз подолгу беседовать с ним, когда я вместе с собратьями гостил в его родовых владениях. Госпожа маркиза, его матушка, всячески поощряла его общение с нами, и со мною в особенности. Я же не мог сдержать восхищения, видя в его поступках, речах и самом образе мыслей живой образец святости. Всякий разговор он умел обратить к глубочайшему смирению, горячо хваля тех, кто отрекся от мирского величия и суетных почестей.

Помню, как однажды в Кастильоне он сказал мне: "Негоже нам кичиться своим рождением, ибо прах князя ничем не отличается от праха нищего (ср. Сир 10:9), разве что зловоние от него может быть сильнее". Несмотря на столь юные годы, в нем не было и тени детского легкомыслия; его отличали исключительная скромность и серьезность. Порой он погружался в глубокое раздумье, храня благочестивое молчание. Часто он восклицал: "О Боже! Как бы я хотел любить Тебя с тем жаром, которого достойно Твое величие! Сердце мое обливается кровью от того, что христиане платят Господу такой неблагодарностью".

Что до его чистоты и целомудрия, то в нем обитала такая прозрачная, искренняя непорочность, что и представить невозможно более. Если в его присутствии, хотя бы и в шутку, кто-то позволял себе двусмысленное слово, Алоизий мгновенно краснел и с величайшим тактом выказывал огорчение, искренне сострадавая чужому падению. Если же речь заходила о делах духовных или о ком-то, кто решил уйти в монастырь, лицо его сияло несказанным восторгом. Он преображался и порой со вздохом говорил: "О, сколь же велико должно быть истинное блаженство небесное, если даже разговоры о нем здесь, на земле, даруют нам такую радость!"

Не раз я сопровождал его в храм. Несмотря на юные годы, Алоизий своей набожностью и смирением превосходил даже умудренных годами иноков. Молился же он столь истово, что очи его всегда были полны слез. Порой он замирал пред образом святого, погружаясь в такое глубокое созерцание, что казался совершенно отрешенным от дольного мира. Если в эти мгновения к нему обращались или окликали его, он не слышал и не мог тотчас вернуться к чувствам. Алоизий часто рассказывал мне о своем исключительном благоговении перед Пресвятой Девой: одного Её имени было довольно, чтобы сердце его истаивало от любви.

Я не застал Алоизия в иноческом чине, но по всему его нраву прозревал: он уже втайне решил оставить мир. Позже от почтенных особ в Милане, Брешии, Кремоне, Ферраре, Генуе, Мантуе и иных местах я узнал, что он вступил в Общество Иисусово. Там он жил в сиянии святости, стяжав всеобщее признание. О его блаженной кончине мне рассказывали многие авторитетные мужи, свидетельствуя о необычайном его совершенстве. Более того, многие признавались, что почитают за более надежное дело не возносить молитвы *об упокоении его души*, а обращаться *к нему самому* за заступничеством. Ныне повсюду гремит молва о его чудесах и знамениях, а мощи его почитаются с величайшим благоговением».

Таковы слова вышеупомянутого преподобного отца-доминиканца.

¹ При длительном воздержании от пищи и воды слюна часто становится вязкой, горькой или неприятной на вкус («дурные соки», как выражались врачи того времени). В аскетической практике того времени сплевывание такой слюны считалось

естественным очищением, а неспособность это сделать и необходимость её глотать воспринимались как предел немоги.

² *В придворном контексте XVI в. «Мадам» – особый почетный титул (итал. Madama), а не просто форма вежливости. Этот титул закрепился за женщинами самого высшего ранга — как правило, за дочерьми королей или императоров, а также за правящими герцогинями. Поскольку Элеонора Австрийская была дочерью императора Фердинанда I, обращение «Мадам» подчеркивало её императорское происхождение и статус.*

ГЛАВА VIII. О поездке маркиза в Испанию и о жизни, которую св. Алоизий вел при тамошнем дворе

Осенью 1581 года в Испанию возвращалась Ее Величество Мария Австрийская — дочь императора Карла V, вдова Максимилиана II и мать ныне правящего императора Рудольфа II. Желая оказать ей подобающие почести, католический король Филипп II распорядился, чтобы в путешествии из Италии в Испанию государыню сопровождала свита из знатных итальянских вельмож, состоявших при испанской короне. В числе приглашенных был и маркиз дон Ферранте, отец Алоизия; сама императрица просила маркизу донну Марту сопутствовать ей в этом пути.

Супруги отправились в путь, взяв с собой троих детей: дочь Изабеллу (которая осталась при дворе фрейлиной инфанты Изабеллы Клары Евгении и спустя несколько лет там же скончалась), первенца Алоизия, коему исполнилось тринадцать с половиной лет, и младшего сына Родольфо.

В этом странствии, на суше и на море, Алоизий ни на йоту не убавил своего молитвенного рвения и по-прежнему пребывал в глубоком созерцании. Когда однажды на галере заговорили о том, что им грозит нападение турок, он с горячностью воскликнул: «О, если бы Бог сподобил нас принять мученический венец!»

Маркиза вспоминала, что однажды на скалистом берегу Алоизий случайно нашел небольшой камень, чьи очертания столь явно напоминали священные раны Спасителя, будто их вырезали с натуры. Алоизий, чей ум всегда был занят божественным, узрел в этом знак Провидения. Он счел находку указанием на то, что ему должно еще усерднее подражать Страстям Господа нашего Христа. Подойдя к матери, он сказал: «Взгляните, государыня матушка, какой дар обрел я по воле Божией. И после этого отец всё еще не желает, чтобы я стал иноком!» Этот камень он долгое время хранил у себя с великим благоговением.

По прибытии ко двору маркиз приступил к своим привычным обязанностям камергера. Алоизий же и Родольфо были назначены менинами (то есть почетными пажами) инфанта дона Диего, сына католического короля Филиппа II и старшего брата будущего короля Филиппа III.

За те два с лишним года, что Алоизий провел при испанском дворе, он не ограничивался лишь придворной службой, но с великим тщанием отдавал все силы учению. Логику он постигал под руководством весьма просвещенного священника, а астрономию — под началом королевского математика Димаса. Ежедневно после обеда он посещал лекции по философии и естественному богословию¹. В науках он преуспел столь быстро, что однажды в Алькале-де-Энарес, будучи всего четырнадцати лет от роду, был приглашен выступить на богословском диспуте.

Председательствовал на нем о. Габриэль Васкес — тот самый, что впоследствии стал его учителем теологии в Римской коллегии. К великому изумлению всех присутствующих, Алоизий с необычайным мастерством и изяществом вел ученый спор: в качестве диалектического упражнения он взялся доказать, что тайна Пресвятой Троицы может быть постигнута светом естественного разума.

Поглощенный придворной жизнью и научными трудами, Алоизий вскоре осознал, что лишился той благословенной свободы для дел духовных, которой так дорожил. Поначалу суэта и вовсе не оставляла ему времени ни для заветных молитв, ни для частого участия в спасительных таинствах исповеди и причастия.

Ему начало казаться, будто прежний жар и порыв поскорее порвать с миром угасают; он больше не ощущал в себе того пламени, что прежде неодолимо влекло его к Богу. Но Божественная благодать укрепила его: Алоизий решительно перестал оглядываться на светские условности. Прямо в стенах дворца он зажил жизнью подлинно благочестивой, подобающей иноку.

Первым делом он приискал себе духовного наставника — жившего тогда в Мадриде о. Фердинандо Патерно, сицилиец из Общества Иисусова, — и вновь стал часто исповедоваться и причащаться.

О чистоте и непорочности, с коими Алоизий жил при мадридском дворе, среди бесконечных развлечений и соблазнов, красноречиво свидетельствует его духовник, о. Фердинандо Патерно. В письме, датированном 1594 годом, он сообщает следующее:

«Отвечая на вопрос Вашего Преподобия, скажу вкратце: с тех пор как я познакомился с братом Алоизием в Испании (а был он тогда еще совсем юн), я сразу заметил необычайную чистоту его совести. За несколько лет нашего общения я ни разу не нашел в нем и тени смертного греха — он гнушался им всей душой и никогда не совершал. Более того, нередко в его исповеди я и вовсе не находил того, что подлежало бы отпущению. И дело вовсе не в простоте или скудости ума; напротив, уже тогда в нем читалось благоразумие старца, а зрелость его суждений и нравов далеко опережала возраст.

Праздность он ненавидел всей душой и всегда занимал себя душеполезными делами, в особенности же изучением Священного Писания, которое любил бесконечно (ср. Пс 118:97). Поражала и его скромность в речах: он никогда не позволял себе задеть или упрекнуть ближнего даже в самой малости».

Эти слова наставника (а ниже мы приведем и иные свидетельства) позволяют заключить: среди придворной суеты Алоизий вел жизнь поистине небесную и ангельскую. Поистине поразительно: даже в ослепительном блеске двора священник не встречал в его душе и тени греха — даже легкого, — над которым следовало бы произнести слова отпущения.

По улицам он ступал с такой собранностью и скромностью, что глаз от земли не поднимал вовсе. Позже он признался одному из настоятелей Ордена: прожив в Мадриде несколько лет, он, как и в родном Кастильоне, не сумел бы отыскать дорогу самостоятельно. Алоизий никогда не выходил без провожатого, который направлял бы его путь; так он оберегал себя от малейших рассеяний, чтобы каждую минуту посвящать молитвенному созерцанию.

О необычайном самообладании Алоизия и его власти над собственным взором в материалах процесса свидетельствует провинциал Неаполя, его близкий друг. Алоизий сопровождал императрицу в долгом странствии из Италии в Испанию, а позже, при дворе, почти ежедневно навещал её вместе с инфантом доном Диего. Несмотря на тысячи возможностей видеть государыню — и вблизи, и со стороны, — он, по собственному признанию, так ни разу и не взглянул ей в лицо.

Между тем всякий знает, сколь неодолимо человеческое любопытство к сильным мира сего и как охотно люди толпятся повсюду, лишь бы мельком увидеть знатных особ в миг их проезда.

Алоизий уже тогда любил ветхую, изношенную одежду; он носил чулки с заплатами выше колен — вещь, которой постыдился бы и последний бедняк. Но он, всем сердцем презирая мир, ни во что не ставил людскую молву. Если отец приказывал сшить ему новое платье, Алоизий до последнего оттягивал минуту, когда придется его надеть. Стоило ему показаться в обновке раз-другой, как он при первой же возможности вновь облачался в свое старое рубище. Он наотрез отказывался от золотых цепей и прочих украшений, принятых при испанском дворе, говоря: «Суетный блеск принадлежит миру, я же хочу служить Богу, а не миру» (ср. 1 Ин 2:15).

Из-за этого у него не раз случались размолвки с отцом. Маркиз поначалу не мог снести подобного смирения, видя в нем бесчестие для своего дома; однако в конце концов, побежденный твердостью сына, он невольно начал восхищаться тем, чего не мог одобрить из мирских соображений. Впрочем, избрав нищету для себя, Алоизий не требовал того же от окружающих: он позволял своим слугам и свите одеваться нарядно, как и подобало их званию и положению.

Его манера держаться среди знатных вельмож была столь степенной и благочестивой, что при его появлении все невольно принимали подобающий вид. Никто никогда не слышал от него сомнительного слова и не видел поступка, который не служил бы образцом порядочности. К тому же все знали: Алоизий не потерпит — ни всерьез, ни в шутку — даже тени непристойности в разговоре. При дворе у вельмож вошло в поговорку: «Маленький маркиз Кастильонский сотворен не из плоти».

Он не упускал случая принести пользу ближнему. Однажды инфант дон Диего стоял у окна; порывы сильного ветра мешали ему, и принц в детском гневе воскликнул: «Ветер, я приказываю тебе: перестань мне докучать!» Алоизий, бывший рядом, мягко и с улыбкой заметил: «Ваше Высочество вправе повелевать людьми, и они подчинятся вам; но властвовать над стихиями может один лишь Бог (ср. Мф 8:27), Которому и само Ваше Высочество обязано повиноваться». Когда об этой детской выходке и о мудром ответе Алоизия доложили королю, Филипп II остался весьма доволен, найдя слова юноши крайне своевременными и рассудительными.

В Испании Алоизий открыл для себя труд брата Луиса Гранадского, обучавший искусству умной молитвы и тому, как стяжать совершенное внимание (ср. Пс 76:7). Пораженный прочитанным, юноша положил себе за правило ежедневно проводить не менее часа в молитвенном созерцании, не позволяя мысли ни на миг отвлечься от Творца.

В глубоком смирении он опускался на колени и, ни на что не опираясь, начинал молитвенное размышление. Если спустя полчаса или сорок пять минут в ум закрадывалось хотя бы малейшее рассеяние, Алоизий не засчитывал уже проведенное время и тотчас начинал положенный час заново. Он упорствовал в этом подвиге до тех

пор, пока не достигал того, что целый час у него проходил в полной, ничем не возмутимой сосредоточенности. Из-за этого его ежедневное правило порой растягивалось до пяти часов, а случалось, и дольше.

Чтобы домашние не прерывали его бдения, он прятался в темных каморках, где хранили дрова. Там, невзирая на тесноту и крайнее неудобство, он с великой радостью предавался размышлениям. Домочадцы тщетно пытались его отыскать — даже когда к маркизу приезжали знатные гости, желавшие видеть Алоизия. Родные не раз выговаривали ему за это, но юноша ценил «небесные посещения» бесконечно выше человеческих и сознательно пренебрегал светскими приличиями.

Святой отказывался прерывать духовные упражнения ради праздного общения; он скорее был готов прослыть в глазах мира нелюдимым и невежественным, нежели проявить нерадение перед Богом. Заметив такую непоколебимость, друзья вскоре оставили пустые визиты вежливости, и Алоизий обрел желанную свободу для дел благочестия.

¹ *Естественное богословие (лат. theologia naturalis) — это область познания, которая стремится постичь Бога и доказать Его существование, опираясь исключительно на человеческий разум, логику и наблюдение за устройством мира. В отличие от «богословия откровения», которое основывается на Священном Писании и вере, естественное богословие идет путем рациональных доказательств: оно не требует принятия догматов на веру как отправной точки, а ищет логические подтверждения бытия Творца (например, через закон причинно-следственной связи); при этом Бог познается через Свои творения. Согласно этой мысли, глядя на сложность и порядок Вселенной, разум неизбежно приходит к выводу о существовании Высшего Разума.*

ГЛАВА IX. О том, как святой решился вступить в Общество Иисусово и открыл свое призвание родным

Алоизий прожил в Испании уже около полутора лет, когда Дух Божий, день ото дня всё сильнее действовавший в его душе, внушил ему: пришло время исполнить решение, принятое еще в Италии, и вступить в монашеский орден. Стремясь избрать верный путь, он как никогда горячо предался молитве, умоляя Господа просветить его разум в столь важном деле (ср. Пс 142:8).

О своих раздумьях он позже рассказывал матери, а кое-чем делился и с нами, уже будучи в Ордене. Во всех его замыслах единственной целью всегда была лишь вящая слава Божия.

Поначалу, будучи склонен к суровой жизни и обузданию плоти, он порывался вступить к испанским «босым отцам»¹, чей устав во многом схож с уставом итальянских капуцинов. Их строгость в пище и грубость одеяния внушают глубокое почтение. Поистине, вид того, как суровая простота рубища сочетается с отшельничеством в лесах или святой жизнью в городах, глубоко назидает души, ищущие истинного блага.

Впрочем, Алоизий, сознавая, что прежними подвигами вконец истощил своё и без того хрупкое тело, опасался, что, не выдержав суровости устава, рискует оказаться вне ордена и вовсе лишиться иноческого звания. К тому же, привыкнув к тайным постам и бичеваниям даже среди придворного шума, он надеялся, что, сохранив остаток сил,

сумеет продолжать и умножать эти подвиги в любом другом чине. Маркиза, его матушка, узнав о его порывах, тоже отговаривала сына: она справедливо опасалась, что при его нежном сложении столь суровая жизнь — будь то в миру или в строгом затворе — вскоре сведет его в могилу.

Тогда Алоизий оставил прежнюю мысль и стал рассуждать иначе: не лучше ли избрать обитель, где монастырский дух пришел в упадок? Ему представлялось, что своим примером он поможет не только родному монастырю, но и со временем вдохнет новую жизнь во весь орден². В таком подвиге он прозревал великое служение Церкви Божьей.

С другой стороны, Алоизий не дерзал приписывать себе столь высокую добродетель. Он опасался, что, не сумев исправить других, лишь навредит собственной душе: вместо того чтобы стать опорой для ближних, он сам мог лишиться духовной поддержки. Потому он твердо решил избрать такой орден, где первоначальный дух и устав сохранялись бы в полной мере.

Размышляя о множестве чинов в Церкви Божией, он оставил без внимания те, что посвятили себя исключительно деятельной жизни и делам телесного милосердия: они казались ему не вполне созвучными его внутреннему складу. Влекли же его иные ордена: одни, совершенно удаленные от людского общества, вкушали святой покой в лесной глуши и пустынях; другие, даже пребывая в городах, всецело отдавали себя псалмопению, чтению и созерцанию Бога в совершенной любви и святом безмолвии.

К таким монашеским обителям Алоизий питал не просто расположение, но великое сердечное влечение. Он верил, что это поприще будет для него легким, ведь если даже среди придворной суеты и мирского шума он умел находить уединение сердца и покой ума, то в монастырских стенах, вдали от всякой суетной сутолоки, он обретет их в еще большем избытке.

Алоизий стремился не просто к покою души и славе Божией, но к вящей славе Его. Он ясно сознавал: в полном уединении он зарыл бы в землю таланты, вверенные ему Господом, тогда как в ином месте он мог бы применить их на благо душ.

Более того, он прочел в «Сумме теологии» Ангельского доктора св. Фомы Аквинского (II-II, q. 188, a. 6), что высшее место среди монашеских чинов занимают те, чье призвание — учить, проповедовать и печься о спасении ближних. Ибо такие иноки не только созерцают, но и передают плоды своего созерцания другим. В этом они подражают земному пути Сына Божия — истинному пути и правилу всякого совершенства. Ведь Спаситель не пребывал вечно в пустынях и уединении, предаваясь молитве, но и не проводил всё время лишь в поучениях: Он то удалялся в пустынные места и на горы молиться, то возвращался к людям, дабы наставлять невежд и проповедовать им спасение (ср. Лк 6:12–13; Мк 1:35–39).

Поэтому Алоизий решил ради любви к Богу отказаться от того сладостного духовного покоя, который сулила ему тишина созерцательных обителей. Он избрал орден, ведущий жизнь смешанную, где глубокое прилежание к наукам служит главной цели — помощи ближним и их духовному совершенствованию.

В святой Церкви существует немало монашеских орденов, созданных ради этой высокой цели и свято ей следующих, каждый своим путем. Алоизий принялся вдумчиво сравнивать их между собой, изучая средства, духовную помощь и упражнения, которые каждый чин предлагает для стяжания совершенства.

В конце концов, пройдя путь долгих и зрелых раздумий и вознеся Господу множество молитв, он с радостью остановил свой выбор на смиренном Обществе Иисусовом. Хоть этот орден и явился миру позже прочих, именно в нем Алоизий решил посвятить себя божественному служению. Он верил, что Сам Господь призывает его на это поприще, и находил устав Общества наиболее созвучным своим помыслам и намерениям.

Алоизий называл четыре причины, побудившие его избрать Общество Иисусова; эти раздумья, по его собственному признанию, приносили его душе великое утешение.

Первый: в Обществе иноческая дисциплина сохраняла свою первозданную силу, а устав пребывал в совершенной чистоте, не претерпев еще ни малейших искажений.

Второй: иезуиты приносят особый обет — никогда не искать церковных должностей и не принимать их, если к тому не принудит прямое повеление Папы. Алоизий опасался, что, вступи он в иной орден, родные по своей знатности могли бы со временем выхлопотать ему высокое звание прелата; в Обществе же сделать это было несравненно труднее.

Третий: он видел, сколь много усилий — через школы и конгрегации — Общество прилагает к воспитанию юношества в страхе Божиим и целомудрии. Юноша верил, что весьма хорошо послужит Церкви и стяжает особое благоволение Господа, если посвятит себя возделыванию этих «нежных растений» (ср. Пс 143:12). Он жаждал оберегать их от холода греха и жара страстей, ограждая души юношей духовными наставлениями и святыми Таинствами.

Четвертый: Общество сознательно ставит своей целью возвращение еретиков в лоно Католической Церкви и обращение язычников в Индии, Японии и Новом Свете. Алоизий надеялся, что и ему когда-нибудь выпадет благодатный жребий отправиться в те края ради спасения душ и проповеди святой веры.

Сделав сей выбор, блаженный юноша пожелал обрести полную уверенность в том, что на то есть святая воля Божия. Он решил просить Господа о вразумлении через заступничество Царицы Небесной в день одного из Её великих праздников.

Приближалось торжество Успения Пресвятой Богородицы 1583 года; Алоизию в ту пору было уже пятнадцать с половиной лет. К этому дню он готовился с необычайным рвением и долгими молитвами, а в само утро праздника сподобился приобщиться Святых Таин. Пребывая в глубоком и благоговейном благодарении, он горячо молил Господа через Матерь Божию открыть ему Свой промысел о его будущем пути.

И вот в тишине молитвы Алоизий услышал в душе голос — ясный и несомненный. Голос повелел ему вступить в Общество Иисусово. Более того (как сам он позже рассказывал матери и сотоварищам по Ордену), голос добавил, чтобы он как можно скорее открыл всё своему духовнику.

Обретя полную уверенность в воле Божией, блаженный юноша поспешил домой; сердце его наполнилось несказанной радостью и желанием как можно скорее исполнить открывшееся ему призвание. В тот же день он отправился к своему духовнику и подробно рассказал о случившемся, умоляя наставника замолвить за него слово перед начальствующими Ордена, дабы те приняли его без промедления.

Выслушав Алоизия и вдумчиво испытал чистоту его намерений, отец-исповедник признал, что это призвание истинно и исходит от Бога. Однако он предупредил юношу, что отцы Общества Иисусова не смогут принять его без соизволения отца, маркиза дона Ферранте. Посему Алоизий должен был сам открыть свои помыслы родителю и как угодно — мольбами и доводами разума — склонить его к согласию.

Горя желанием всецело посвятить себя Богу, Алоизий не стал медлить ни единого часа. В тот же день он открылся своей матери. Маркиза приняла это известие с ликованием; возблагодарив Господа, она, подобно новой Анне (ср. 1 Цар 1:28), с готовностью принесла своего первенца в дар Всевышнему. Именно она взяла на себя тяжкий труд первой сообщить о решении сына супругу, стараясь укротить вспышку яростного гнева, в который неминуемо должен был впасть маркиз.

И действительно, услышав столь неожиданную весть, дон Ферранте пришел в неистовство. Не ведая о давнем и страстном желании супруги видеть одного из сыновей в служении Богу, он заподозрил её в мирском лукавстве. Маркизу показалось, будто донной Мартой движет лишь чрезмерная любовь к младшему сыну, Родольфо, а потому он решил, что она намеренно толкает Алоизия к монашеству, дабы лишить его наследства и передать право владения вотчиной своему любимцу.

Вскоре Алоизий, выказав величайшее смирение и почтение, открыл отцу свои помыслы. Спокойно, но с непоколебимой твердостью он объявил маркизу, что решил провести остаток дней в иночестве.

Дон Ферранте вспыхнул как порох; осыпав сына резкими и горькими словами, он выгнал его прочь, грозя, что велит раздеть его донага и жестоко высечь плетьюми. На это Алоизий лишь смиренно молвил: «Да уделит мне Бог милость так пострадать ради любви к Нему!» (ср. Деян 5:41) — и покинул покои отца.

Маркиз же, сокрушенный глубокой скорбью, обратил всё свое негодование на отсутствующего духовника. Слепленный страстью и земной привязанностью, он в эти дни не находил себе места: удар был слишком тяжел, а ущерб, который решение сына наносило величю их дома, казался ему невозполнимым.

Спустя несколько дней маркиз призвал к себе духовника Алоизия и обрушился на него с горькими упреками. Он винил священника в том, что тот внушил наследнику подобные мысли, тогда как на первенца дом Гонзага возлагал все свои надежды. На это отец-исповедник ответил, что Алоизий сам открыл ему свое решение лишь за несколько дней до того, и юноша может это подтвердить. Впрочем, добавил он, взирая на жизнь отрока, нетрудно было предугадать подобный исход.

Несколько остыв, маркиз обратился к присутствовавшему при разговоре Алоизию. Он внушал сыну, что всё не было бы столь прискорбно, избери тот иной орден. Алоизий отвечал столь рассудительно, что у отца не нашлось возражений. Об этой беседе мы узнаем из упомянутого письма духовника, где он сообщает следующее:

«О призвании Алоизия надлежит заметить две вещи. Во-первых, я никогда не заводил с ним об этом речи, хотя по всему его поведению предвидел нечто подобное. Лишь в день Успения Богородицы, после причастия, к которому он прибегал часто, юноша пришел ко мне и поведал, что, горячо молясь Господу через Пресвятую Деву о выборе жизненного пути, он услышал в душе ясный и явственный голос, повелевший ему вступить в Общество Иисусово.

Во-вторых, когда господин маркиз, глубоко опечаленный решением сына, увидел его непреклонность, он сказал в моем присутствии: "Сын мой, я желал бы, чтобы ты выбрал любой другой орден, но не этот. Ведь там ты мог бы достичь высоких церковных достоинств и тем возвеличить наш дом; в Обществе же ты этого лишен, ибо иезуиты от них отказываются".

Юноша же ответил: "Напротив, батюшка, я и выбрал Общество Иисусово среди иных орденов именно для того, чтобы наглухо затворить дверь перед искушением честолюбия. Желай я почестей, я остался бы владеть своим маркизатом, который Бог даровал мне по праву первородства, и не стал бы менять надежное на ненадежное"».

Когда исповедник ушел, маркиз, непрестанно размышляя о случившемся, заподозрил в решении сына хитроумный расчет. Ему казалось, что Алоизий нарочно затеял это, дабы отвратить отца от игры, к которой тот питал неумеренную страсть. Лишь за несколько дней до того маркиз проиграл многие тысячи скудо, а в тот самый вечер, когда сын открыл ему свои намерения, дон Ферранте лишился еще шести тысяч.

Алоизия страсть отца к игре действительно глубоко ранила; часто, пока маркиз предавался этому занятию, юноша уединялся в своей комнате и плакал. Он говорил слугам, что его печалит не столько денежный урон, сколько оскорбление, наносимое тем самым Господу. Посему подозрения отца имели под собой видимое основание.

Того же мнения придерживался и почти весь двор. Когда весть о столкновении маркиза с сыном разнеслась повсюду, придворные принялись превозносить прозорливость Алоизия: они решили, будто страх перед еще большими потерями побудил юношу пойти на такую уловку, чтобы спасти отца от разорения. Однако Алоизий пребывал непоколебим; он ежедневно просил дозволения последовать божественному внушению, уверяя, что не имеет иной цели, кроме служения Господу нашему.

В конце концов маркиз поверил, что сын говорит правду и что им движет воля Божия. Он вспомнил, какое ангельское житие Алоизий вел с самого детства, и его исключительное благочестие. Укрепило маркиза в этом убеждении и свидетельство преосвященного Франческо Гонзага, генерала ордена францисканцев-обсервантов, родственника и близкого друга семьи, который в ту пору находился в Испании с визитацией. По просьбе маркиза он в течение двух часов со всем тщанием испытывал Алоизия, после чего объявил дону Ферранте: нет ни малейшего сомнения в том, что это призвание — от Бога.

Хотя маркиз и сознавал в полной мере, что сына призывает Сам Бог, он никак не мог решиться дать ему дозволение и отделялся лишь пустыми обещаниями. Алоизий видел это и не желал более медлить. Смерть инфанта дона Диего от лихорадки освободила его от придворных обязанностей; проводив вместе со всем двором тело принца к месту погребения в Эскориале, юноша решился на смелый шаг, дабы окончательно испытать свою судьбу.

Однажды, придя в обитель отцов Общества Иисусова, он объявил бывшему с ним младшему брату Родольфо и слугам, чтобы те возвращались домой, ибо сам он решил остаться здесь навсегда. Видя его непреклонность, те после долгих и тщетных просьб вернулись и обо всем доложили маркизу. Дон Ферранте, прикованный к постели жестоким приступом подагры, услышав столь неожиданную весть, немедленно отправил к сыну своего советника, доктора Саллюстио Петрочени из Кастильоне, с приказом немедленно вернуться домой.

Алоизий же отвечал: «То, что должно совершиться завтра, вполне можно сделать и сегодня», – и просил передать отцу, чтобы тот не лишал его радости пребывания в этом святом месте. Маркиз, выслушав ответ, возразил, что подобный самовольный уход — позор для его имени и повод для пересудов при всем дворе. Он вновь велел передать сыну, чтобы тот во что бы то ни стало вернулся; и Алоизий, храня послушание родителю, повиновался и возвратился домой.

На следующий день маркиз встретился с генералом ордена Франческо Гонзага, о котором говорилось выше. Ссылаясь на узы крови и давнюю дружбу, дон Ферранте умолял его о содействии. Маркиз сокрушался, какой невосполнимый урон понесет его дом и всё государство, лишившись столь мудрого наследника, который по своей рассудительности и благочестию мог бы стать образцовым правителем. Он просил генерала отговорить Алоизия от вступления в Орден и убедить сына, что служить Богу можно и в миру, не оставляя своего высокого звания.

Отец генерал смиренно просил простить его, ответив, что ни монашеский обет, ни совесть не позволяют ему взяться за такое поручение. Тогда маркиз стал настаивать: пусть генерал хотя бы склонит Алоизия не принимать иноческое облачение в Испании, а вернуться вместе с семьей в Италию. Дон Ферранте клятвенно обещал, что на родине даст сыну полную свободу поступить так, как тот пожелает.

Тут отец генерал вспомнил собственный путь: когда он сам, пребывая при том же мадридском дворе, решил стать францисканцем, родные всячески пытались увести его в Италию, надеясь там отвратить от этого намерения. Он тогда не уступил и принял постриг в Испании. Помня об этом, генерал признался маркизу, что испытывает некоторую неловкость, предлагая подобное Алоизию, однако все же согласился переговорить с ним.

В беседе с отроком генерал честно пересказал просьбы маркиза и свои ответы, добавив: «По правде говоря, Алоизий, совесть моя неспокойна, когда я передаю тебе это, даже при том, что господин маркиз обещает дать тебе в Италии полную волю».

Благочестивый юноша, надеясь, что отец сдержит слово тотчас по прибытии домой, ответил генералу, что с радостью готов исполнить желание родителя. В этой отсрочке он не видел для себя опасности, ибо столь ясно прозревал всё грядущее и был столь тверд в своем намерении, что по благодати Божией почитал свою решимость неизменной и ничего не страшился. Отец генерал передал этот ответ маркизу, и на том обе стороны пришли к согласию.

¹ Под «босыми отцами» (*Padri Scalzi*) в Испании того времени подразумевался Орден меньших братьев-дискальцеатов (лат. *Ordo Fratrum Minorum Discalceatorum*), более известный как алькантаринцы. Это была одна из самых строгих ветвей францисканского ордена, возникшая в результате реформы, которую в XVI веке возглавил св. Петр Алькантарский. Он был духовным наставником св. Терезы Авильской и славился невероятным аскетизмом. Алькантаринцы стремились вернуться к первоначальной суровости правил св. Франциска. Они жили в крайней нищете, носили очень грубые, короткие рясы, круглый год ходили босиком (или в простых деревянных сандалиях на босу ногу) и соблюдали строжайшие посты. Чепари вполне справедливо сравнивает их с итальянскими капуцинами. В те годы именно капуцины в Италии и алькантаринцы в

Испании воплощали собой идеал «реформированного францисканства» — наиболее радикального отречения от мира и возврата к евангельской простоте.

² В истории духовности это знаменитое «парадоксальное» наставление закрепилось именно за святым Филиппом Нери (1515–1595). Он часто советовал юношам, искавшим иночества, выбирать не тот орден, где дисциплина на высоте, а тот, где она пришла в упадок, чтобы личным подвигом послужить его обновлению.

ГЛАВА X. О том, как Алоизий вернулся в Италию, и о испытаниях, коим подверглось его призвание

В 1584 году господин Джованни Андреа Дориа, незадолго до того получивший от Католического короля адмиральское звание, должен был отплыть на галерах из Испании в Италию, и маркиз дон Ферранте решил вернуться на родину на тех судах вместе с супругой и детьми. Когда пришло время садиться на корабль, к ним присоединился и отец-генерал Гонзага, завершивший свои дела и визитацию в Испании.

Невозможно передать, какой великой удачей почитал Алоизий возможность находиться в обществе столь достойного мужа. Всякий раз, взирая на него, юноша видел перед собой живой и зримый образ монашеского совершенства и строгого соблюдения устава. Позже Алоизий сам рассказывал мне, как прилежно он наблюдал за каждым действием генерала, стремясь почерпнуть для себя духовную пользу. Глубокая добродетель и образцовое житие этого мужа открыли Алоизию человека, воистину достойного своего высокого имени и звания главы обсервантов.

То, сколь верное суждение составил об отце Франческо юноша, стало очевидным позже, когда тот был возведен в епископское достоинство — сначала в Чефалу на Сицилии, а затем и в Мантуе. В этом сане он всегда вел столь святую жизнь, что, по общему признанию всех знавших его, шел по стопам святителей древности. Он заслуживает того, чтобы служить образцом для всех иноков, призываемых из монастырской тишины к церковному правлению; я бы охотно поведал об этом пространнее, если бы не опасался задеть скромность этого достойного владыки, который еще жив, пока я пишу эти строки.

В таком благочестивом общении Алоизий с великой радостью провел всё время морского пути. Они беседовали то о различных местах Священного Писания, то о иных предметах духовных; юноша поверял генералу те трудные вопросы о внутренней жизни, что занимали его. В июле того же года они прибыли в Италию; Алоизию в ту пору уже исполнилось шестнадцать лет и четыре месяца.

Алоизий ожидал, что маркиз, его отец, тотчас даст ему дозволение исполнить заветное желание; однако дон Ферранте прежде вознамерился отправить его вместе с братом Родольфо к итальянским князьям и герцогам с посольством от своего имени. Маркиз питал надежду, что светский блеск и придворная суета мало-помалу отвратят сына от помыслов о монашестве.

Алоизий отправился в путь с братом и многочисленной свитой, посетив всех владетельных государей Италии. Родольфо, еще отрок, был облачен с пышностью, подобающей его званию; добрый же Алоизий носил лишь простое платье из черной саетты и чуждался всего, что несло на себе отпечаток мирской суеты. Маркиз велел изготовить для него великолепные одежды, почти сплошь покрытые золотым шитьем, дабы сын предстал в них перед инфантой Испанской, герцогиней Савойской, во время её

приезда в Италию, однако Алоизий остался непреклонен и ни разу не согласился надеть их.

В Кастильоне произошел и другой случай, достойный упоминания: Алоизий носил совершенно изорванные чулки, тщательно прикрывая их плащом, дабы домашние не заметили этого и не принудили его сменить их. Однажды, когда он поднимался по лестнице, у него из рук выпали четки. Когда Алоизий наклонился, чтобы поднять их, воспитатель, шедший следом, увидел сквозь прорехи кожу. «О, синьор Алоизий, что же вы делаете? — воскликнул он. — Неужто вы не видите, что бесчестите себя и свой дом?» Он велел юноше тотчас переодеться; тот не посмел возразить, лишь опасаясь, как бы воспитатель не донес маркизу.

В пути Алоизий всегда пребывал либо в устной молитве, либо в созерцании, никогда не оставляя обычных своих постов и вечернего правила. Прибывая на постоянные дворы, он прежде всего уединялся в покое и искал взором образ Распятия, дабы склонить пред ним колени. Если же образа не находилось, он углем или чернилами рисовал крест на листе бумаги и, преклонив пред ним колени, проводил час или более в молитве и прочих духовных трудах.

В городах же, где были обители или коллегии Общества Иисусова, он, исполнив долг перед государями, неизменно навещал отцов. Первым делом, входя в коллегию, он направлялся прямо в храм поклониться Пресвятым Тайнам, а затем, если время позволяло, беседовал с иноками.

Во время визита Алоизия к герцогу Савойскому произошли два случая, достойных упоминания. Первый из них случился в Турине, где юноша остановился во дворце своего сородича — сиятельного вельможи Джироламо делла Ровере (ставшего впоследствии кардиналом). Однажды Алоизий находился в некоем покое в окружении множества молодых дворян, среди которых был и старец лет семидесяти. Сей почтенный по годам человек завел речи, мало сообразные с благопристойностью.

Алоизий, возмущившись духом, открыто и твердо сказал ему: «Неужто человеку вашего звания и преклонных лет, господин мой, не стыдно вести подобные беседы в присутствии молодых людей? Это не что иное, как соблазн и дурной пример, ибо, по слову св. Павла, *"corrumpunt mores bonos colloquia prava"* (1 Кор 15:33; Вульг. "...худые сообщества развращают добрые нравы")».

Сказав это, он взял духовную книгу и удалился в другую комнату, подальше от того общества, всем своим видом выказывая глубокое негодование. Слова эти повергли старца в великое смущение, остальные же получили глубокое назидание, видя столь мужественный и благородный поступок юноши.

Вторым событием, заслуживающим упоминания, стал приезд его дяди, господина Эрколе Тана, родного брата госпожи маркизы. Узнав о прибытии племянника в Турин, он навестил его и упросил вместе с братом отправиться в Къери, дабы навещать родных, с которыми Алоизий еще не был знаком. Юноша принял приглашение. Господин Эрколе, желая оказать почтение знатным племянникам, устроил празднество с танцами. Алоизий всячески пытался избежать участия в нем, но в конце концов уступил уговорам многих, твердивших, что праздник устроили исключительно ради него и по великой радости по случаю встречи.

Он вошел в покой, где уже собралось множество господ и дам, предварительно условившись, что будет лишь присутствовать, но участвовать в танцах не станет. Однако едва он занял место, как одна из знатных дам подошла к нему и пригласила на танец. Алоизий, не промолвив ни слова и сделав вид, будто ему нужно ненадолго отлучиться, тотчас покинул залу и более в нее не возвращался.

Спустя некоторое время господин Эрколе отправился искать племянника, но долго не мог его обнаружить. Наконец, проходя по какому-то делу через комнату слуг, он увидел, что Алоизий укрылся в углу между стеною и кроватью. Там, преклонив колени, он пребывал в глубокой молитве. Получив изрядный урок благочестия, дядя не дерзнул нарушить молитвенный покой отрока и тихо удалился, оставив его наедине с Богом.

ГЛАВА XI. О новых испытаниях, коим подвергся Алоизий в Кастильоне, и о том, как он наконец получил от отца дозволение вступить в Орден

Завершив поездки по дворам, Алоизий вернулся в Кастильоне. Он был совершенно уверен, что маркиз теперь сдержит обещание и даст ему благословение, однако жестоко обманулся в своих надеждах. Отец и слышать не желал об уходе сына; он пускал в ход всевозможные ухищрения, дабы отвратить его от этого намерения. Дон Ферранте никак не мог поверить в истинность его призвания, полагая, что перед ним лишь пылкое юношеское рвение, которое со временем неизбежно угаснет.

Вслед за отцом к попыткам поколебать волю юноши присоединились и другие знатные особы, движимые родственными чувствами и искренней любовью к нему. Первым был светлейший Гульельмо, герцог Мантуи, всегда питавший к Алоизию особую нежность. Он отправил в Кастильоне красноречивого епископа с поручением внушить юноше, что если светская жизнь стала ему в тягость, то пусть он примет духовный сан, оставаясь в миру.

Посланник убеждал Алоизия, что на этом поприще он сможет послужить вящей славе Божией и благу ближних с гораздо большим успехом, нежели в монастырских стенах. Епископ приводил в пример святых мужей древности и наших дней — таких как сиятельный кардинал Карл Борромео и другие, кои, будучи облечены высоким достоинством, принесли Церкви больше пользы, чем многие иноки. В конце он объявил, что герцог обещает свое покровительство и готов приложить все силы для продвижения Алоизия к вершинам церковной иерархии.

Епископ говорил весьма убедительно, подкрепляя свои слова вескими доводами, на которые Алоизий ответил с великим благоразумием. Он просил передать Его Высочеству глубокую благодарность за ту неизменную любовь, что породила столь щедрое предложение. Однако юноша добавил: раз он уже отказался от всякой помощи и преимуществ, которые мог бы получить от своего рода, то столь же решительно отказывается и от милостей, предлагаемых герцогом.

— Напротив, — сказал Алоизий, — именно по этой самой причине я и избрал Общество Иисусово, ведь в нем по обету не принимают никаких почестей и званий. Я твердо постановил, что не желаю в этой жизни ничего, кроме Бога (ср. Пс 72:25.)

Второе испытание его решимости последовало со стороны сиятельного господина Альфонсо Гонзага, его дяди, чьи владения в Кагель-Гоффредо Алоизий должен был унаследовать. Альфонсо обратился к племяннику с предложениями, подобными тем, что делал герцог, но получил столь же твердый отказ.

Затем еще одна весьма влиятельная особа из дома Гонзага, исчерпав многие доводы против его намерения, принялась даже поносить Общество Иисусово. Сей господин убеждал Алоизия, что если уж тот твердо решил оставить мир, то пусть хотя бы не вступает к иезуитам, ведь они пребывают в самой гуще мирской суеты. Напротив, он советовал избрать орден, совершенно удаленный от подобных забот, например, капуцинов, картезианцев или им подобные.

Возможно, этот вельможа надеялся, что если Алоизий изменит свой выбор, это даст повод упрекнуть его в непостоянстве и вовсе осудить его призвание. Либо же он полагал, что отговорить юношу от столь строгих уставов со временем будет легче, ссылаясь на их несообразность его силам и хрупкому сложению. Наконец, из других орденов было бы проще со временем вызвать его ради возведения в высокую церковную степень.

Алоизий же кратко возразил, что не видит иного пути, который позволил бы ему столь же решительно удалиться от мира, нежели вступление в Общество. Ибо если под «миром» понимать богатство, то в Обществе соблюдается совершенная бедность, и никто в нем не имеет и не может иметь ничего своего. Если же «мир» — это почести и знатность, то доступ к ним прегражден: обет запрещает домогаться их и принимать даже из рук монархов, за исключением случаев прямого повеления Папы.

Эти ответы заставили того господина умолкнуть, а всем прочим стало ясно: призвание Алоизия непоколебимо.

Маркиз не оставлял надежды и просил других людей испытать твердость Алоизия. В частности, он обратился к монсеньору Джанджакомо Пасторио, архипресвитеру Кастильоне, к чьему слову Алоизий всегда прислушивался с великим почтением. Маркиз умолял его убедить юношу остаться в миру ради управления маркизатом. Однако Алоизий привел столь веские и убедительные доводы, что архипресвитер был вынужден уступить и сам стал убеждать отца в том, что призвание сына — воистину от Бога. С тех пор монсеньор Пасторио, глубоко тронутый тем, что Алоизий поведал ему о своей внутренней жизни, повсюду называл его святым.

Дон Ферранте, всё еще не удовлетворенный этими усилиями, стал настойчиво просить одного своего друга — монаха, который в то время был знаменитейшим проповедником в Италии (а скончался позже в сане епископа), заклиная его, ради их дружбы, совершить решительное «нападение» на Алоизия и любыми способами отвратить его от иноческого пути. И хотя тот отец взялся за это дело неохотно, он не смог отказать маркизу и исполнил поручение со всем прилежанием, пустив в ход всю свою проницательность и красноречие.

Однако и он не преуспел. Позже, желая восславить стойкость юноши в беседе с одним из влиятельнейших кардиналов, проповедник сказал так: «Меня заставили исполнять роль искусителя перед этим юношей. И раз уж я должен был это сделать, я приложил всё свое мастерство и умение. Но я ничего не добился: он стоит столь твердо и непоколебимо, что сокрушить его волю невозможно».

Несмотря на всё это, маркиз не оставлял надежды, что под напором стольких увещаний воля сына хоть в чем-то смягчилась. Желая окончательно в том удостовериться, он однажды, будучи прикован к постели жестоким приступом подагры, призвал Алоизия к себе и спросил, каковы его нынешние намерения. Алоизий ответил со всем почтением, но и со всей прямоотой: намерением его было и остается служение Богу в помянутом выше

Обществе. Эти слова привели маркиза в неопишную ярость. С суровым лицом, осыпая сына колкими и горькими упреками, он прогнал его, велел немедленно уйти с глаз долой.

Алоизий, приняв эти слова как прямое повеление, тотчас удалился в монастырь братьев-обсервантов, именуемый Санта-Мария, что примерно в миле от Кастильоне. Обитель сия расположена за живописным и приятным озером, образованным искусными запрудами для вод, стекающих с окрестных холмов. Место это исстари славилось необычайной красотой, о чем и ныне свидетельствует полуподземный покой, украшенный древними мозаиками, и прозрачный источник целебных вод. Эти воды по древним подземным каналам подведены к покоям, которые некогда маркиз дон Ферранте построил как место уединения для себя и своих сыновей; там они наполняют прозрачный источник, дарящий дивное отдохновение.

Именно в этих покоях и укрылся святой Алоизий. Велел перенести туда кровать, книги и прочую скромную утварь, он начал вести там жизнь в строжайшем затворе. По несколько раз на дню он бичевал себя и всё время проводил в молитве; и никто из домашних не осмеливался заговорить об этом с маркизом, дабы не вызвать у него нового приступа гнева.

Спустя несколько дней маркиз, всё еще томимый недугом, спросил, где Алоизий. Узнав, что сын находится в упомянутом убежище, он велел немедленно его призвать. Когда юноша вошел в покои отца, тот в великом гневе осыпал его горькими словами, порицая за то, что он посмел самовольно покинуть дом. В этом поступке маркиз усматривал лишь новое и вящее пренебрежение к своей воле.

Алоизий же со всяким миром и почтением отвечал, что ушел лишь потому, что желал делом явить свое послушание: ведь отец сам повелел ему уйти с глаз долой. В ответ маркиз разразился новыми угрозами и велел сыну немедленно отправляться к себе. Алоизий, склонив голову, лишь промолвил: «Иду по послушанию».

Оказавшись в своей комнате, он запер дверь и, пав на колени перед распятым, горько и безутешно зарыдал. Он горячо молил Бога даровать ему твердость и мужество в столь великих испытаниях. Затем, обнажив плечи, предался долговому и суровому самобичеванию.

Между тем в душе маркиза боролись природная привязанность к сыну и голос совести: с одной стороны, он не желал гневить Бога, с другой же — не мог и помыслить о том, чтобы расстаться с первенцем, столь нежно им любимым и наделенным всяческими достоинствами. Опасаясь, что Алоизий был слишком глубоко уязвлен его суровым выговором, дон Ферранте призвал управителя города, ожидавшего в приемной. Он велел ему пойти и разузнать, что делает юноша.

Подойдя к дверям комнаты Алоизия, управитель встретил камердинера, который сообщил, что господин заперся и просил ни в коем случае не беспокоить его. Но управитель, ссылаясь на волю маркиза, подошел к самой двери и, не имея возможности войти, проделал кинжалом в одной из дверных щелей дырочку. Сквозь нее он увидел, что Алоизий, обнаженный по пояс, стоит коленями на голом полу перед распятием. Юноша горько плакал и бичевал себя.

Потрясенный и глубоко тронутый этим зрелищем, управитель вернулся к маркизу со слезами на глазах. «Сударь мой, — молвил он, — если бы Ваша Светлость видели то, что делает синьор Алоизий, вы бы более не пытались отвратить его от благого намерения

стать иноком». Маркиз стал расспрашивать, что именно он видел и почему так плачет, на что управитель ответил: «Сударь, я видел вашего сына в таком состоянии, что любой бы залился слезами». Он подробно описал увиденное, к великому изумлению маркиза, которому трудно было в это поверить.

На следующий день маркиз, терзаемый всё тем же недугом, велел беспромедлительно принести себя в кресле к дверям комнаты Алоизия — она находилась на одном этаже с его покоями. Сквозь то же отверстие он увидел, что сын его вновь проливает слезы и бичует себя. Увиденное так потрясло дону Ферранте, что он долго стоял в оцепенении, словно вне себя. Наконец, скрыв свои чувства, он велел громко постучать в дверь. Войдя в комнату вместе с маркизой, он увидел, что пол окроплен каплями крови, а то место, где Алоизий преклонял колени, было настолько влажным от слез, словно его нарочно полили водой (ср. Пс 6:7).

Потрясенный этим зрелищем и вняв настойчивым мольбам, коими сын неустанно осаждал его, маркиз наконец склонился к тому, чтобы дать свое дозволение. Он написал в Рим своему двоюродному брату, господину Шипионе Гонзага (в ту пору Патриарху Иерусалимскому, а впоследствии — кардиналу Святой Церкви), прося его объявить достопочтенному Отцу Генералу Общества Иисусова — коим тогда был отец Клаудио Аквавива, сын герцога Атри, — что он предает в его руки своего первенца.

В письме дон Ферранте прибавил, что отдает «самое дорогое для него сокровище и величайшую надежду, какую он имел в этом мире». Также маркиз спрашивал, где Его преподобию будет угодно, чтобы юноша начал свое послушание. Отец Генерал ответил так, как подобало в столь важном случае; местом же прохождения новициата он по многим соображениям определил Рим.

Узнав сию счастливую весть, Алоизий преисполнился несказанной радости. Не в силах сдержать ликования, он тотчас написал Отцу Генералу, благодаря его за столь великое благодеяние. И так как он чувствовал, что никакие изъявления признательности не способны выразить глубину его любви, он в этом письме совершил полное приношение самого себя, без остатка вверяя всё свое существо Обществу. Отец Генерал с особой теплотой принял это послание и ответил, что принимает Алоизия как сына и с нетерпением ждет его.

Вслед за тем начались переговоры об отречении от маркизата. Как уже упоминалось, Алоизий был официально утвержден Императором в правах наследника. Маркиз желал, чтобы он уступил эти права младшему брату Родольфо, и Алоизий с величайшей готовностью согласился на это. Он всячески торопил оформление бумаг и предоставил родным самим составить текст отречения, уверяя, что примет любое решение отца. Единственным его желанием было поскорее покончить с мирскими делами, дабы беспрепятственно устремиться к иноческой жизни.

В итоге была выработана следующая формула: Алоизий полностью отказывался от всякой власти и юрисдикции в своем маркизате, а равно и от права наследования иных феодалов, которые могли бы ему перейти. На личные нужды он получал одновременно две тысячи скудо, а на время дальнейшей жизни ему полагалось содержание в четыреста скудо ежегодно¹.

Этот документ был представлен на рассмотрение правоведам и Сенату Милана, дабы исключить в будущем всякие сомнения или тяжбы. Наконец, бумаги отправили ко двору Императора для Высочайшего утверждения, ибо без согласия Его Императорского

Величества передача власти была невозможна — все владения этих господ считались свободными имперскими феодами.

В том, чтобы утвердить отречение при дворе кесаря, неоценимое содействие оказала светлейшая донна Элеонора Австрийская, герцогиня Мантуи. Алоизий усердно просил её о покровительстве, зная, что она охотно содействует в подобных делах и всегда готова явить милость. О её участии в этом деле можно прочесть и в изданном жизнеописании самой герцогини (часть III, глава 5), где приводятся следующие слова:

«Случилось так, что один знатный юноша, первенец и наследный маркиз, коего Бог призвал оставить мир, не мог исполнить свое святое намерение без соизволения Императора на передачу феода младшему брату. Элеонора, к которой обратились за помощью, взвесив все обстоятельства и узнав о высоких достоинствах того, кто жаждал отречься от мира, не только укрепила его в божественном призвании, но и со всем жаром написала об этом Императору Рудольфу II, своему племяннику. Она добилась всего, чего желала; благодаря этому святое стремление юноши исполнилось. Спустя несколько лет этот молодой инок, проведший свою жизнь в величайшей святости, отошел в обители небесные для вечной славы».

¹ В Италии XVI в. 400 скудо в год — это весьма солидное содержание для частного лица. В те времена квалифицированный ремесленник или мелкий чиновник в Италии зарабатывал в среднем от 50 до 100 скудо в год. Таким образом, ежегодная выплата Алоизия в 4-6 раз превышала годовой доход человека «среднего класса». На 400 скудо можно было безбедно жить в городе, снимать приличный дом и содержать 2-3 слуг. Поскольку же св. Алоизий приносил обет бедности, эти деньги фактически шли в распоряжение ордена на его содержание (питание, одежду, книги) и на благотворительность. Для монашеского быта это была более чем достаточная, даже избыточная сумма. Кроме того, 2000 скудо одновременно — это был крупный капитал: на такую сумму в конце XVI века можно было купить небольшое поместье, доходную ферму или скромный городской дворец (palazzetto). Впрочем, стоит вспомнить, что маркиз Ферранте проиграл 6000 скудо за один вечер: то есть за одну ночь игры отец «спустил» сумму, равную 15 годам содержания своего сына.

ГЛАВА XII. О том, как святой Алоизий был отправлен по делам в Милан, и о том, что с ним там происходило

Пока тянулось ожидание императорского согласия на отречение, у маркиза в Милане открылись важные государственные дела. Поскольку сам он из-за обострившейся подагры поехать не мог, то решил отправить туда Алоизия, на чье благоразумие и рассудительность во всем полагался. И не без причины: дон Ферранте уже не раз поручал сыну переговоры с различными государями, и тот неизменно вел и завершал дела к полному его удовлетворению.

Алоизий отправился в путь, исполняя волю отца. Дела заставили его пробыть в Милане около восьми или девяти месяцев. Несмотря на то что поручения были весьма сложными и запутанными, он благодаря своей проницательности и умению довел их до того исхода, коего желал маркиз. Но и это время не было для него потерянным: изучив в Испании логику (о чем уже говорилось), он в Милане, в иезуитской коллегии Брера, приступил к изучению физики. Обладая блестящим умом и выдающимся суждением, он сделал в этой науке немалые успехи.

Ежедневно, утром и вечером, он присутствовал на занятиях. Если же дела мешали ему быть в коллегии, он просил записывать лекцию, дабы изучить ее дома. Когда же устраивались диспуты, он не только охотно их посещал, но и сам выступал с доводами или защищал тезисы наравне с прочими школярами, не желая для себя никаких исключений. И хотя в ученых спорах он выказывал всю остроту своего разума, делал он это с такой скромностью, что (как свидетельствовал его учитель) из уст его никогда не исходило неосторожного слова, и ни в жестах, ни в речах он не выказывал и тени юношеского легкомыслия. Эта редкая скромность и благопристойность делали его любезным в глазах каждого.

Сверх того, в той же коллегии он ежедневно слушал лекцию по математике. Поскольку учитель не диктовал её, Алоизий, боясь забыть услышанное, по возвращении домой тотчас повторял урок своему камердинеру. Делал он это с такой легкостью, ясностью и необычайной верностью памяти, что когда позже в Кастильоне этот камердинер (хранивший записи как святыню) показал их мне, я был поражен: Алоизий не забыл ни одного доказательства, не исказил ни одного числа, меры или чертежа, в точности передав все термины, коими полна сия наука.

В коллегию он обычно ходил пешком, хотя в доме всегда были кони. Одевался весьма просто — во всё черное, в платье из флорентийской раши¹, не носил шпаги; и пока шел по улице, не обменивался ни словом ни с кем из сопровождавших его слуг, пребывая в глубокой внутренней собранности.

Во всё время пребывания в Милане единственным его отдохновением было общение с отцами Общества Иисусова. Почти всё время, остававшееся от государственных дел, он проводил в коллегии, беседуя то с одним, то с другим священником о науках или о предметах духовных. Его учитель философии примечал, что в разговорах с клириками (да и со светскими людьми, наделенными властью) Алоизий выказывал столь глубокое почтение, что неизменно держал глаза опущенными и лишь изредка дерзал взглянуть собеседнику в лицо.

Он искал общения не только со священниками или школярами, но охотно беседовал и с братьями-помощниками, а в особенности с привратником коллегии. Алоизий почитал за великую для себя милость, когда тот, уходя позвать кого-то из отцов, порой оставлял ключи от ворот в его руках. В такие мгновения юноша предавался невинной радости, воображая, будто он уже принят в Общество и несет в нем свое первое послушание.

Зная, что по четвергам (если на неделю не выпадало праздника) занятий не бывает и отцы коллегии обычно отправляются для отдыха на загородную виллу Гизольфа, что в полутора милях за воротами Порта Комазина, Алоизий поутру пораньше отправлялся в ту сторону. Оставив слуг позади, он в одиночестве гулял по дороге, то читая духовные книги и предаваясь размышлениям, то собирая весенние фиалки. Едва завидев идущих по пути иезуитов, он почтительно их приветствовал, а затем шел поодаль вслед за ними, не сводя с них глаз, пока те не скрывались из виду. Одна лишь близость этих мужей даровала ему такое утешение, словно он зрел ангелов райских. В душе он называл их блаженными, ибо ничто не препятствовало им служить Богу так, как жаждал служить и он сам. Когда же отцы входили в ворота виллы, он поворачивал назад, надеясь встретить других, и возвращался домой в полном сердечном сокрушении и радости.

В дни карнавала он ежедневно приходил в коллегию, дабы избежать мирских зрелищ и побеседовать о делах божественных. Он говаривал, что единственное желанное для него зрелище — это сами отцы Общества; пребывание в их кругу было ему милее всего, что

есть в подлунном мире. О суетных же забавах мира он неизменно отзывался с таким презрением, что по одной его интонации чувствовалось, сколь ничтожны они в его глазах.

Однажды в дни карнавала в Милане устроили блистательный турнир, на который собрался весь город. Особенно старались выделиться молодые дворяне: каждый выезжал на породистом скакуне в самом богатом убранстве, какое мог себе позволить. Алоизий же, желая еще решительнее попать мирскую суету и явить пример публичного смирения, решил предстать на празднестве в совершенно ином виде.

Хотя в его конюшнях всегда стояли отборные кони, и по обычаю вслед за ним неизменно вели скакуна под бархатной попоной, в тот день он, вопреки всяким ожиданиям, выехал на низеньком старом муле. Сопровождаемый лишь двумя слугами, он проследовал по улицам, где теснились нарядные всадники, и так Алоизий столь же явно посмеялся над тщеславием света, в какой мере свет мог потешиться над его нищетой. Многие иноки, наблюдавшие это, исполнились великого утешения и почерпнули в его примере глубокое духовное назидание.

В делах благочестия он неизменно следовал заведенному правилу, никогда не оставляя духовных размышлений. Он часто и с охотой посещал святые места, в особенности же храм Мадонны ди Сан-Чельсо, куда в ту пору из-за множества явленных там чудес стекалось великое множество народа. Каждое воскресенье и во все праздничные дни он причащался в иезуитской церкви Сан-Феделе. Делал он это с таким глубоким смирением и набожностью, что всякий взиравший на него проникался благоговением; казалось, сам его облик дышал святостью.

Один из отцов Общества, проповедовавший в ту пору в этом храме, свидетельствовал: когда во время проповеди он желал обрести вящий жар и рвение, то переводил взор на Алоизия. Юноша всегда внимал его поучениям, располагаясь прямо перед кафедрой. Одного вида Алоизия было довольно, чтобы проповедник почувствовал глубокое внутреннее волнение и умиление — так взирают на великую святыню. Столь высоко уже тогда все чтили его добродетель.

¹ Раша (rascia) — вид плотной и грубой шерстяной ткани саржевого переплетения. Считается, что слово происходит от названия сербской области Рашка, откуда эта ткань первоначально ввозилась в Италию. В XVI веке Флоренция была знаменита производством своей «раши». Хотя это была шерсть, флорентийская выделка считалась очень качественной, прочной и имела характерный благородный, но строгий вид. Для молодого князя выбор одежды из раши вместо шелка, парчи или тончайшего сукна был программным жестом: костюмы из этой ткани часто носили ученые, юристы, чиновники или небогатые дворяне. Выбрав черную рашу и отказавшись от шпаги, Алоизий Гонзага внешне уподобился простому студенту или клирику, подчеркивая свой внутренний разрыв с миром придворной роскоши и военного сословия.

ГЛАВА XIII. О том, как маркиз, получив согласие Императора на отречение Алоизия, вновь подверг испытанию волю сына, и о победе последнего

К тому времени уже прибыло известие о согласии Императора на отречение; Алоизию же исполнилось полных семнадцать лет. Со дня на день он ожидал от отца вызова в Кастильоне, дабы, обретя наконец свободу, устремиться под кров святого Ордена. Но

внезапно поднялась новая буря, которая, едва он приблизился к гавани, вновь отбросила его в открытое море.

Маркиз решил самолично отправиться в Милан. С одной стороны, он надеялся, что Алоизий за время долгого ожидания мог поостыть в своем первоначальном намерении, с другой же — сама отцовская привязанность и мирские соображения не позволяли ему дать сыну окончательное дозволение. Дон Ферранте желал еще раз испытать волю Алоизия и окончательно удостовериться, от Бога ли исходит столь важное решение юноши.

Прибыв в Милан нежданно, маркиз спросил Алоизия, каковы его помыслы теперь. Обнаружив, что сын стоит в своем намерении тверже, чем когда-либо прежде, дон Ферранте преисполнился великой печали. Выказав сперва негодование и суровость, он затем заговорил с Алоизием ласково, стремясь убедить его, что он, маркиз, не столь дурной христианин, чтобы пытаться оскорбить Бога или противиться Его воле. Однако, внушал он сыну, разум подсказывает, что решение это скорее следствие его собственной прихоти, нежели божественное призвание.

Отец настаивал: и заповеданное Богом почтение к родителям, и сама забота о благе Церкви — всё свидетельствует против его замысла. Используя все доводы, какие только могла подсказать любовь, маркиз доказывал, что уходом в Орден Алоизий принесет разорение своему дому и обречет его на упадок. Он указывал сыну, что при его доброй натуре он и в миру не подвергается опасности отпасть от праведной жизни; напротив, оставаясь в миру, он получит возможность вести жизнь столь же благочестивую, но при этом направлять и удерживать своих подданных в соблюдении закона Божия, наставляя их примером собственного благочестия. Маркиз твердил, что и этот путь — открытая дверь для вхождения в Царство Небесное.

Он напоминал Алоизию о том почтении, доверии и любви, коими уже прониклись к нему подданные, и о том, как они, воздев руки, чают и ожидают его правления. Он напомнил, сколь быстро юноша благодаря своим достоинствам обретал расположение государей, при дворах коих он бывал. Затем маркиз заговорил о нраве младшего брата, Родольфо, которому Алоизий намеревался передать власть: по причине пылкости и незрелости лет тот казался отцу менее способным к управлению и мог совершить немало безрассудств, оставшись в юности на воле и без узды (ср. Сир 30:8).

Наконец, дон Ферранте молвил: «Посмотри на меня, я болен; изнуренный непрерывными приступами подагры, я едва могу двигаться. Мне необходимо, чтобы кто-то разделил со мной бремя правления, что ты мог бы делать уже сейчас. Если же ты вступишь в Орден и оставишь меня, на меня обрушатся дела, коим я не смогу уделять внимания. Я буду раздавлен тяготами и недугом, и ты станешь причиной моей смерти». Сказав это, маркиз разразился горькими слезами, присовокупив и иные слова, исполненные скорби и нежности.

Алоизий, с глубоким смирением выслушав родителя, поблагодарил его за явленную отеческую любовь и заботу. Он отвечал, что прежде уже вдумчиво взвесил все те доводы, о коих ныне говорил маркиз. Юноша признал справедливость отцовских слов и подтвердил: не будь он призван Богом к иному жребию, он счел бы великой несправедливостью пренебречь этими доводами и не посвятить жизнь служению отцу, коему он после Господа обязан более всего. Однако добавил, что, поскольку им движет не прихоть, но послушание Богу, призывающему его к Своему служению, то надлежит уповать, что Господь, Которому всё ведомо и Чей взор проникает во всё сущее (ср. Пс

138:1–4), управит всё по Своему благому изволению — к пользе и их дома, и всего государства. От божественной благодати нельзя ожидать иного исхода.

Маркиз, видя, что сын непоколебим в своей вере в божественное призвание, понял: дабы заставить Алоизия отступить от своего замысла, необходимо прежде поколебать его уверенность в том, что такова воля Господня. Посему он распорядился, чтобы многие достойные мужи — как миряне, так и священнослужители — испытали крепость духа и подлинность призвания юноши. Они должны были убедить его, что истинным служением Богу для него станет управление наследными землями.

В течение многих дней эти люди поочередно беседовали с Алоизием. Желая испытать его стойкость, они со всем доступным им красноречием описывали тяготы иноческой жизни и всячески пытались поколебать его решимость. Однако в конце концов их самих так поразила и восхитила твердость молодого князя, что они единодушно подтвердили маркизу: призвание это воистину от Бога. К сему свидетельству они присовокупили и многие иные похвалы его добродетелям.

Маркиз, выслушав столь многие и согласные между собой свидетельства, решил окончательно удостовериться, воля ли это Божия. Однажды он велел отнести себя в кресле (ибо из-за подагры не мог перемещаться иначе) в церковь Сан-Феделе к отцам Общества Иисусова. Призвав в отдельную комнату одного из отцов, чье имя было весьма славно в том городе, маркиз объявил ему, что в столь важном для него деле, как расставание с сыном-первенцем, он желает довериться его суждению. Дон Ферранте просил священника испытать призвание Алоизия в его присутствии и выдвинуть против него самые веские возражения, какие только подскажут ему мудрость и опыт. Маркиз обещал, что после этого он, насколько возможно, обретет покой.

Иезуит принял это условие. Когда Алоизий предстал перед ними, священник на протяжении целого часа подвергал его строгому испытанию, живописуя самые суровые лишения, способные поколебать человеческую решимость. С особенным жаром он предостерегал юношу против выбора именно Общества Иисусова, описывая все трудности, что ожидают вступающего в сей Орден. Священник вел этот спор с таким пылом, словно сам был убежден в своих возражениях.

Алоизий же (как он сам рассказывал мне позже, уже в Ордене), видя почтение и доверие, кои все питали к этому отцу, на мгновение погрузился в глубокое раздумье. Никто прежде не испытывал его столь сурово и не выдвигал против него столь решительных доводов. Однако он отвечал на все вопросы с необычайной прямоотой и ясностью. Он разрешил все сомнения, опираясь не только на доводы разума, но и на авторитет Священного Писания и Учителей Церкви. Священник не только получил назидание, но и был глубоко поражен тем, насколько твердо Алоизий обосновал свое призвание. Видя его познания в Писании, отец даже подумал, не читал ли юноша рассуждения св. Фомы о монашеских орденах в «Сумме теологии» — столь точными и глубокими были его ответы.

В конце концов священник в изумлении воскликнул: «Синьор Алоизий, вы правы! Воистину, всё именно так, как вы изволили сказать; в том не может быть сомнения, и я обрел великое назидание и покой». Эти слова принесли юноше великое утешение, ибо он понял: суровость отца была лишь испытанием. В итоге и сам маркиз признал себя побежденным и, убедившись, что здесь налицо великое призвание от Бога, принялся рассказывать священнику о святой жизни, которую Алоизий вел с самого детства, и торжественно пообещал дозволить ему вступить в Орден.

Спустя несколько дней они отбыли в Кастильоне. Маркиз позволил сыну побыть в Милане еще немного, дабы завершить некие дела, а Алоизий торопился с их исполнением изо всех сил, ибо каждая минута пребывания в миру казалась ему вечностью — столь сильно он жаждал укрыться от его опасностей в тишине обители (ср. Пс 54:7).

ГЛАВА XIV. О том, как святой Алоизий отправился сперва в Мантую для совершения духовных упражнений, а затем в Кастильоне

Приближалось время возвращения в Кастильоне. Помня о том, что произошло в Милане, Алоизий предположил, что ему предстоит выдержать еще не одну бурю. Посему, прежде чем покинуть Милан, он написал Отцу Генералу Общества Иисусова исполненное пламенного рвения письмо. В нем он поведал о своих злоключениях и просил совета, как поступить. Особенно же юношу заботило следующее: если маркиз вновь попытается воспрепятствовать его уходу или станет намеренно затягивать дело, не позволит ли Его Преподобие ему тайно покинуть дом и укрыться в одной из обителей Общества без согласия отца? Ведь теперь уже ни для кого не оставалось сомнений, что призвание его — воистину от Бога.

Отец Генерал, хотя и питал к юноше великое сострадание и сознавал, в какой опасности тот находится, всё же не счел возможным допустить подобный шаг без доброго согласия маркиза. Он ответил Алоизию, что надлежит любым способом стремиться к получению отцовского благословения. По мнению Генерала, такой путь, несомненно, послужит к вящей славе Божией, к пользе самого Алоизия и всего Общества Иисусова.

Алоизий смиренно внял сему совету. Покинув Милан, он не поехал сразу в Кастильоне, но направился в Мантую. Там отчасти ради собственного духовного утешения, отчасти же дабы еще более утвердиться в призвании и укрепить дух против грядущих посягательств, коих он столь опасался, Алоизий постановил совершить «Духовные упражнения» св. Игнатия в коллегии Общества.

Шел июль 1585 года. В ту пору в Мантуе со дня на день ожидали приезда японских послов. Эти знатные мужи проделали путь из столь дальних краев в Рим, дабы засвидетельствовать почтение Престолу святого Петра и изъявить послушание Верховному Понтифику, Викарию Христа на земле, от имени своих государей и верного народа той земли. Завершив свое посольство сперва при Папе Григории XIII, а затем и при его преемнике Сиксте V, они возвращались на родину через Лорето и Ломбардию. Герцог Гульельмо и принц дон Винченцо приняли их в Мантуе с царским великолепием и высочайшими почестями.

Со всех сторон стекался народ, дабы поглазеть на пышные приготовления и празднества, а более всего — на самих послов, чей необычайный вид повергал зрителей в изумление и побуждал возносить небесам тысячи благословений. Алоизий же, нимало не заботясь о зрелищах, предпочел совершенное уединение. Несмотря на палящий летний зной, он на две или три недели затворился в тесной камерке коллегии, посвящая всё время пламенной молитве и святым размышлениям. Он не позволял себе праздности ни на мгновение: либо молился устами и сердцем, либо читал духовные книги. Питался он в те дни столь скудно, что, казалось, вовсе ничего не вкушал; слуги, приносявшие ему обед, дивились, как он еще находит силы поддерживать жизнь.

Упражнения преподавал ему один из отцов Общества Иисусова — человек, весьма опытный в делах духовных, двадцать пять лет бывший ректором и учителем новициев в

венецианской провинции. Ему Алоизий с глубоким сокрушением и благоговением принес генеральную исповедь за всю свою жизнь. Священник получил великое назидание и был поражен редкими добродетелями юноши, о чем он позже свидетельствовал под присягой перед викарием епископа Реджо.

На вопрос о том, вел ли Алоизий жизнь совершенную, отец ответил: «Да, сударь, я знаю это не только по рассказам братьев, но прежде всего от добродетельного юноши, его камердинера, который был ему и сотоварищем по учению. От него я слышал о великих подвигах покаяния, об уединении и святой жизни, кои вел сей молодой князь. Но еще лучше я узнал это из личного общения, когда преподавал ему наши "Духовные упражнения", дабы окончательно испытать его призвание, как того желал маркиз, его отец. Я принимал его генеральную исповедь, и сколько бы ни размышлял об этом впоследствии, я не нахожу в ней ничего, что мог бы признать за смертный грех. Напротив, всё в ней было удивительным свидетельством святой и добродетельной жизни. В моей душе навсегда запечатлелось убеждение в его великой святости, невинности и чистоте; и именно так я всегда о нем отзывался».

Когда первый наставник в силу неких обстоятельств был вынужден покинуть коллегию, завершать упражнения с Алоизием остался другой отец, которому юноша также не раз исповедовался. Сей священник впоследствии под присягой свидетельствовал, что был глубоко поражен исключительной добротой, чистотой, набожностью и смирением юноши, а равно и его тягой к умерщвлению плоти (ср. Кол 3:5) и иным добродетелям.

В то же время Алоизию представили Конституции и Правила Общества Иисусова. Внимательно прочтя их, он признался, что не находит в них ничего трудного для себя. Перед самым отъездом он попросил список тем для размышлений о Страстях Господних, дабы иметь возможность продолжать эти занятия и вне стен коллегии. Наконец он возвратился в Кастильоне.

Едва прибыв домой, Алоизий вознамерился безотлагательно ходатайствовать перед отцом о скорейшем завершении дел; однако, не желая раздражать маркиза, решил выждать несколько дней, надеясь, что тот сам заведет об этом речь. Между тем он вел столь строгий и богомольный образ жизни, что вызывал благоговейное изумление у всех домочадцев и подданных.

Покидая замок, он неизменно шел с опущенным взором, лишь изредка поднимая глаза, дабы ответить на почтительные приветствия подданных; в этом он проявлял изысканную учтивость, почти всегда оставаясь с непокрытой головой. Когда он направлялся в храм к мессе, для него и его младшего брата всегда устраивали почетное место, устланное коврами и украшенное бархатными подушками. Родольфо, сообразно своему званию, занимал это место, Алоизий же ни в церкви, ни дома никогда не соглашался на подобную роскошь. Он опускался на колени прямо на голый пол и пребывал в полной неподвижности по многу часов, не поднимая глаз — сперва внимая литургии, а затем читая официий или предаваясь умной молитве.

В праздничные же и воскресные дни, неизменно причастившись, он пребывал в благодарении столь долго, что брат его Родольфо успевал уйти, совершить прогулку и, вернувшись, заставал Алоизия всё на том же месте в молитве. На вечернях он также никогда не садился, но неизменно пребывал на коленях, подавая пример высокого благочестия всем присутствующим.

Дома он держал свои обычные посты и молитвенные правила, оставаясь по большей части в одиночестве у себя в покоях и соблюдая совершенное безмолвие. Случалось, что целыми днями он не нарушал глубокого безмолвия, не проронив ни единого слова; если же и говорил, то лишь о делах необходимых или духовных. Он сам позже признавался нам в Ордене, что за один день в иночестве он произносил больше слов, чем в миру за долгие месяцы. Он говаривал, что если ему когда-нибудь доведется вернуться в родные края, то он вынужден будет совершенно изменить образ жизни и стать гораздо строже к себе, дабы не соблазнить знавших его в миру: им могло бы показаться, будто в Ордене он стал более волен в речах. И это при том, что в Ордене он всегда был ревностным хранителем безмолвия и прерывал его лишь тогда, когда настоятели, желая отвлечь его от непрерывного умственного напряжения, приказывали ему заговорить.

Свои телесные подвиги он довел до такой крайности, что от изнеможения едва держался на ногах. В этом он, несомненно, переступил меру, увлеченный своим рвением; однако юноша полагал это допустимым, а не имея духовного наставника, следовал лишь тому, что внушал ему сердечный пыл. Посему госпожа маркиза, его матушка, приводя супругу доводы в пользу того, чтобы отпустить сына в Орден, указывала на следующее: если Алоизий останется дома, они вскоре потеряют его, ибо при такой суровости к себе он не проживет долго. В Ордене же, убеждала она, настоятели позаботятся о нем лучше, умерят его неблагоразумный пыл, и он, по обету послушания, покорится им.

Всё произошло именно так, как она предсказала. Впоследствии Алоизий сам признавал, что вступление в Орден стало спасительным не только для его души, но и для телесного здоровья, благодаря любви настоятелей, которые сумели, по его собственному выражению, «обуздать его безрассудство».

В это же самое время Алоизий с еще большим рвением, чем прежде, старался наставлять в благочестии своих младших братьев и обучать их молитве. Дабы приохотить их молиться, он после молитвы давал им сласти и забавлял их.

Среди всех своих братьев он всегда выказывал особенное расположение к Франческо — ныне правящему маркизу Кастильоне, который наследовал Родольфо 3 января 1593 года. Быть может, причиной тому было то, что Франческо по возрасту уже становился способен к дисциплине и выказывал признаки зрелого суждения; а быть может, Алоизий, как полагают некоторые, уже тогда провидел то великое служение, которое его брат совершит на благо своего дома и государства.

Госпожа маркиза, его матушка, часто вспоминала, как однажды Франческо, будучи еще совсем малым ребенком, весело играл с пажами. Услышав их шум, она из опасения заглянула в комнату и сказала Алоизию, бывшему с нею: «Боюсь, как бы они не обидели этого ребенка». Алоизий же ответил: «Не сомневайтесь, государыня, Франческо сумеет постоять за себя. Более того, запомните мои слова: Франческо станет опорой нашего дома».

Маркиза не забыла этого предсказания, а то, что оно сбылось в полной мере, ведомо всем, кто знает, как мудро Франческо правил в пору недавних трагедий¹, постигших его семью, и кто видит, в каком цветущем состоянии ныне находится его государство. Что же касается дара предвидения, то синьор Пьерфранческо дель Турко, воспитатель Алоизия, рассказывал, что еще живя в миру, святой предсказал многим своим подданным события, которые впоследствии исполнились в точности так, как он и предрекал.

¹ Под «недавними трагедиями», о которых упоминает о. Вирджилио Чепари, подразумеваются драматические и кровавые события, развернувшиеся в доме Гонзага вскоре после смерти св. Алоизия (1591). Основные события этих «трагедий» были следующими. Брат Алоизия, Родольфо, унаследовавший маркграфство, вел жизнь, далекую от святости. Он был вовлечен в многочисленные конфликты, обвинялся в чеканке фальшивой монеты и вступил в тайный брак, вызвавший гнев семьи. 3 января 1593 года он был застрелен заговорщиками в Кастильоне прямо на глазах у жены и дочери, когда направлялся в церковь. Смерть Родольфо поставила под угрозу само существование маркграфства Кастильоне как владения семьи Гонзага, так как возникли споры о наследовании и обвинения в измене императору. Младший брат, Франческо (которого Алоизий и называл «опорой дома»), принял власть в крайне тяжелое время. Ему пришлось приложить огромные усилия, чтобы восстановить мир в государстве, очистить имя семьи от обвинений и добиться подтверждения своих прав у императора. Для современников Чепари эти события были еще свежи в памяти и воспринимались как тяжелое испытание, из которого дом Кастильоне вышел обновленным благодаря мудрости Франческо и — как верили современники — заступничеству их святого брата Алоизия.

ГЛАВА XV. О новых преградах, кои маркиз чинил Алоизию

Прошло уже немало дней, в течение коих маркиз ни словом не упоминал о деле Алоизия. Наконец юноша, всем сердцем желая довести начатое до конца, решился сам поторопить родителя. Однажды он в учтивых выражениях напомнил отцу, что, как ему кажется, настало время исполнить задуманное.

Услышав это и осознав, что уклониться от прямого ответа более не удастся, маркиз, глубоко уязвленный в самое сердце настойчивостью сына, в гневе отвечал, что не помнит, будто когда-либо давал подобное разрешение, и ныне давать его не намерен, покуда призвание Алоизия не станет более зрелым, а сам он не войдет в возраст, когда плоть и дух укрепятся для такого подвига — скажем, годам к двадцати пяти.

«Впрочем, — присовокупил он, — если ты так жаждешь уйти, ступай на все четыре стороны; но знай: я никогда не дам своего согласия и отныне не признаю тебя своим сыном».

Услышав столь нежданный и суровый ответ, бедный юноша едва не лишился чувств. Со слезными мольбами стал он заклинять отца ради любви Божией не чинить ему такой несправедливости. Однако маркиз оставался непреклонен, наотрез отказываясь благословить его выбор. Видя, что дело принимает столь отчаянный оборот, Алоизий испросил время на размышление и удалился в свои покои, дабы в глубокой скорби выплакать горе.

Это время он посвятил молитве, вверяя свою участь Господу. Но маркиз столь сильно понукал его, что Алоизий, не имея возможности дождаться совета от Генерала, из двух зол выбрал меньшее. Он явился к отцу и объявил свою волю:

«Хотя в жизни сей не могло бы приключиться со мной ничего более прискорбного и ничто так не лишает мою душу покоя, как отсрочка вступления в Орден, всё же, желая угодить вам, батюшка, я готов уступить. Я согласен отложить свой уход на два или три года, но при соблюдении двух условий. Если хоть одно из них будет отвергнуто, я не смогу с чистою совестью пренебречь волею Божией в угоду родителю. В таком случае я скорее предпочту скитаться по свету, нежели поступлюсь своим долгом перед Господом.

Условия же мои таковы: первое — чтобы всё это время я провел в Риме, дабы там вернее блюсти свое призвание и беспрепятственно предаваться учению. Второе — чтобы вы уже ныне дали свое окончательное согласие и подтвердили его письмом к Отцу Генералу Общества Иисусова, дабы в будущем не возникло новых препятствий».

Маркиз пришел в сильное негодование, услышав эти условия, ибо они шли совершенно вразрез с его собственными замыслами. В течение двух дней он стоял на своем, не желая связывать себя никакими определенными сроками или иными обязательствами. Однако в конце концов, побежденный непоколебимой твердостью Алоизия и самой справедливостью его требований, а также опасаясь, как бы излишняя суровость не толкнула юношу на какой-нибудь еще более опасный шаг, маркиз уступил и пообещал исполнить всё, о чем сын просил.

Алоизий тотчас известил об этом письмом Отца Генерала. Он подробно изложил причины, побудившие его пойти на такой уговор с родителем, и в конце присовокупил немало слов, свидетельствовавших о той глубокой скорби, которую он испытывал оттого, что исполнение столь пламенного его желания вновь откладывается.

Святой юноша пребывал в те дни в глубоком унынии и со слезами оплакивал свое «злочастие» — то, что родился он столь знатным и, к досаде своей, первенцем. Он свято завидовал тем, кто, исходя из менее славного рода, не встречал на пути к иночеству таких преград. Однако Бог, Утешитель смиренных (ср. 2 Кор 7:6), Который скоро внемлет молитвам страждущих, нашел способ утешить Своего возлюбленного Алоизия. В один миг Господь сокрушил все препятствия, дабы юноша обрел желаемое.

Когда начались переговоры, как Алоизию надлежит устроиться в Риме, маркиз пожелал, чтобы сын поселился в доме кардинала Винченцо Гонзага. Маркиз просил герцога Гульельмо написать об этом Его Преосвященству в Рим, и герцог, питавший к Алоизию глубокое расположение, охотно пообещал содействие. Однако вскоре между герцогом и маркизом возник спор о первенстве: ни тот, ни другой из излишней щепетильности в вопросах чести не желал писать первым. На том дело и замерло, и более к нему не возвращались.

Наш святой увидел в этом особый Промысл Божий. Он понимал: если бы герцог, желая угодить маркизу, всё же написал кардиналу, то Алоизий (как он говаривал позже) оказался бы в такой придворной кабале, из которой не смог бы вырваться многие годы.

Когда сей замысел был принят, маркизу пришла мысль, не поселить ли Алоизия в Римской коллегии (Seminario Romano), но в отдельных покоях для него самого и его слуг, как то приличествует его достоинству. Там он, пребывая под началом Общества Иисусова, мог бы до назначенного срока прилежно учиться. Однако сие шло вразрез с уставами упомянутой коллегии, и до того времени подобного не дозволяли никому. Дабы вернее добиться желаемого, маркиз отправил в Рим нарочного с письмами к сиятельному господину Шипионе Гонзага, прося его переговорить с Отцом Генералом и всячески постараться получить разрешение. Сей господин со всем жаром взялся за дело, однако, выслушав доводы, почему это было невозможно, счел их справедливыми и известил о том маркиза.

Маркиз же, не теряя надежды, стал понуждать Алоизия, дабы тот сам просил Мадам Элеонору Австрийскую, герцогиню Мантуи (перед коей Общество имело весьма многие обязательства), исходатайствовать сию милость у Отца Генерала. На это Алоизий мудро возразил:

«Мне менее, чем кому-либо другому, пристало просить о подобном, ибо сие повредило бы моему духовному преуспеянию и доброму имени. Ведь тогда могли бы заподозрить, будто я либо переменял решение, либо, по меньшей мере, охладел в своем рвении. К тому же, — добавил он, — всего несколькими месяцами ранее я умолял Мадам посодействовать скорейшему утверждению моего отречения при императорском дворе».

Посему и этот замысел не удалось привести в исполнение.

Пока маркиз обдумывал иные подходы, Алоизий с обновленным рвением предался покаянию, посту и молитве. Он неизменно приступал к Святым Тайнам с единственной мыслью, моля Бога убрать наконец все препятствия.

Однажды, проведя в молитве добрых четыре или пять часов, он ощутил в душе великую силу, побуждавшую его идти к маркизу, который лежал в постели из-за подагры, и вновь просить о дозволении. Полагая, что сила эта от Бога и от особого внушения Святого Духа, он укрепился духом и, восстав от молитвы, отправился прямо в покои отца. С великой убедительностью и серьезностью он произнес:

«Господин мой и отец, я всецело отдаю себя в ваши руки: делайте со мной что пожелаете. Но я свидетельствую вам, что призван Богом в Общество Иисусово, и, противясь этому, вы противитесь воле Божией (ср. Деян 5:39)».

Сказав это и не дожидаясь ответа, он вышел из комнаты; маркиз же был настолько потрясен услышанным, что не смог вымолвить ни слова. Раздумья о том, сколь долго он противился сыну, пробудили в нем угрызения совести, и он убоился, не прогневал ли тем Самого Бога. Вместе с тем при мысли о скорой потере бесценного сына сердце его исполнилось сострадания и глубокого волнения; отвернувшись к стене, маркиз разразился безутешным плачем. Долго он плакал навзрыд, со стенаниями и всхлипами, так что встревоженные домочадцы ожидали новой беды.

Спустя какое-то время, велев позвать Алоизия к себе в покои, маркиз сказал ему:

«Сын мой, ты ранил меня в самое сердце, ибо я люблю тебя и всегда любил так, как ты того заслуживаешь. На тебя возлагал я все свои надежды и надежды нашего дома. Но раз Бог призывает тебя, как ты говоришь, я не стану тебе препятствовать. Ступай, сын мой, куда тебе угодно, я же даю тебе свое благословение».

Произнеся это, он так глубоко растрогался, что вновь зарыдал, и никто не мог его утешить. Алоизий, кратко поблагодарив отца, вышел, дабы более не печалить его; а вернувшись к себе, заперся в одиночестве и, пав на колена, с распростертыми руками и возведя очи к небу, со многими слезами благодарил Бога за ниспосланное свыше внушение и за то, сколь благополучно оно исполнилось на деле. Принеся себя в совершенное всеожжение (ср. Пс 50:21) Божественному Величеству, он в преизбытке духовного утешения неустанно славословил и благословлял Господа.

ГЛАВА XVI. О том, как Алоизий окончательно отрекся от маркизата и принял иноческое облачение

Едва лишь маркиз дал Алоизию столь долгожданное дозволение, как весть об этом разнеслась по всему Кастильоне. Подданные приняли это известие с великой скорбью, о коей ясно свидетельствовали обильные слезы, проливаемые многими из них. В те немногие дни, что оставались ему до отъезда из Кастильоне, всякий раз, когда он

проходил по городу, мужчины и женщины спешили к окнам и дверям, дабы в последний раз посмотреть на него и выразить свое почтение. Глядя на него, люди плакали с такой нежностью, что сердце самого Алоизия невольно сокрушалось от сострадания. Все в один голос называли его святым и горевали, что не сподобились иметь своим правителем столь праведного государя.

Некоторые же из тех, кто имел доступ к его двору и был с ним более близок, однажды со слезами на глазах обратились к нему с такими словами:

«Господин Алоизий, почто вы нас покидаете? У вас столь прекрасные владения, столь преданные подданные, которые, сверх обычной любви к своему природному государю, питают к вашей особе еще и особое благоговение. Вам отдали мы всю свою любовь, на вас возложили надежды, и ныне, когда мы уже чаяли увидеть вас во главе правления, вы нас оставляете?»

Алоизий же, с кроткой улыбкой, отвечал им так:

«Я иду, дабы стяжать венец в небесах, ибо властителю слишком трудно спастись. Никто не может служить двум господам (Мф 6:24) — миру и Богу. Я же стремлюсь к спасению наивернейшему; поступайте и вы так же».

Он всей душой жаждал поскорее оставить отчий дом, дабы переселиться в дом Божий (ср. Пс 26:4), однако был вынужден задержаться еще на несколько недель. Причиной тому было, во-первых, ожидание возвращения маркизы, его матушки, которая отправилась в Турин навестить светлейшую инфанту, герцогиню Савойскую; во-вторых — необходимость завершить дела, связанные с отречением. По особому указу Императора при подписании этого договора должны были присутствовать ближайшие родственники из рода Гонзага, дабы в случае пресечения линии маркиза определить порядок престолонаследия.

Поскольку все сии знатные господа проживали в Мантуе, маркиз, для большего их удобства, невзирая на собственный недуг, распорядился переехать туда. Когда он покидал Кастильоне вместе с Алоизием, плакали не только придворные, мужчины и женщины, которым довелось остаться; казалось, всё местечко огласилось всеобщим рыданием. Глядя на проезжавшую карету, люди понимали: их государь уезжает навсегда и более они его не увидят.

В те первые дни в домах и на улицах не было иных речей, кроме как о его благости и святости. Каждый вспоминал те или иные добродетели, что заметил в юноше, и делился свидетельствами о них. Все в один голос величали его святым, изумляясь тому, с какой готовностью он оставил высокое положение ради служения Господу и как мужественно и непоколебимо выдержал все те испытания, коим подвергали его маркиз и иные знатные особы.

Алоизий задержался в Мантуе около двух месяцев. В это время он почти не покидал коллегии Общества Иисусова, где беседовал с отцами и часто приступал к таинствам исповеди и Святого Причастия к великому назиданию всего города. Весть о его высоком происхождении и о цели приезда уже разнеслась повсюду, и жители взирали на него с почтением, признавая, что от самого его облика исходит дух истинного благочестия.

Причиной столь долгой задержки в Мантуе стало упомянутое выше условие отречения, согласно которому за Алоизием пожизненно сохранялись четыреста скудо ежегодного

дохода для личных нужд. Однако ректор коллегии известил маркиза, что устав Ордена запрещает инокам иметь какое-либо личное имущество: никто не волен распоряжаться средствами по своему усмотрению или оставлять их себе. Ради сохранения чистоты обета бедности всё достояние вверялось в распоряжение настоятеля; лишь коллегии владели общим имуществом, из которого каждому члену Общества предоставлялось всё необходимое.

Узнав об этом, маркиз решил вовсе отказаться от этого условия. Он пояснил, что желал оставить эти деньги в руках сына, но раз Общество того не дозволяет, то и условие следует изъять. Сам Алоизий не видел в этом никакой трудности, ибо ему было совершенно безразлично, как именно будет оформлено отречение, лишь бы его совершили беспромедлительно.

Однако правоведа предостерегли маркиза, что поскольку Император уже утвердил акт отречения с этим условием, его изъятие могло поставить под сомнение законность всего договора. Пока маркиз совещался с докторами права, миновало гораздо больше времени, чем ожидалось вначале. Это причиняло Алоизию бесконечную скорбь. Он так настойчиво взывал к отцу, что в конце концов добился устранения и этой преграды: акт был составлен заново со всеми необходимыми юридическими предосторожностями.

Наконец, когда всё было подготовлено, утром 2 ноября 1585 года в Мантуе, во дворце Сан-Себастьяно, где пребывал маркиз, собрались сиятельный господин Просперо Гонзага, как ближайший родственник, и иные знатные господа. Там, в присутствии необходимых свидетелей и прочих лиц, был торжественно подписан акт отречения.

Очевидцы вспоминают, что пока нотариус читал этот пространный документ, маркиз, терзаемый глубокой скорбью, не переставал плакать навзрыд. Алоизий же, напротив, видя, что заветная цель наконец достигнута, сиял таким восторгом, что, по свидетельству синьора Просперо, никогда прежде юноша не казался столь счастливым, как в тот день.

И это при том, что тем же утром незадолго до подписания бумаг некоторые из знатнейших вельмож, прибывших во дворец вместе с принцем доном Винченцо (ныне герцогом Мантуи), всячески досаждали Алоизию. Пока принц беседовал с маркизом, эти господа насмехались над его решением уйти в монастырь и прилагали все усилия, дабы расстроить подписание отречения и тем самым удержать его в миру.

Едва лишь акт был официально утвержден и скреплен печатями, Алоизий, сбросив наконец бремя забот о земном достоянии и власти, уединился в своих покоях. Там он добрый час с лишком провел на коленях, пламенно благодаря Бога за то, что Тот сподобил его наконец обрести сокровище святой бедности, которого он столь пламенно жаждал. В те мгновения душа его исполнилась такого несказанного утешения, что впоследствии он называл это посещение одной из величайших милостей, когда-либо полученных им от Господа.

И воистину было удивительно, что маркиз дон Ферранте, государь столь щедрый и великолепный, которого почитали скорее расточительным, нежели бережливым, проявил в этом деле такую несвойственную ему суровую скупость по отношению к нежно любимому первенцу. Ведь он сам, и никто иной, прежде настоял на сохранении за сыном ежегодного дохода в четыреста скудо. Дóлжно верить, что Бог попустил маркизу впасть в сию крайность лишь для того, чтобы радость Алоизия стала совершенной (ср.

Ин 15:11). Ибо юноша, даже вращаясь при первейших и блистательных дворах Европы, всегда оставался ревностным почитателем и любителем святой нищеты.

Когда Алоизий закончил благодарить Господа, он, встав от молитвы, призвал к себе в покои почтенного священника по имени дон Лодовико Катанео, коего привез с собою из Кастильоне. Испросив у него благословение на облачение из простого сукна, сшитое по иезуитскому образцу (кое он тайно велел скроить еще в Мантуе), Алоизий собственноручно снял с себя все мирские одежды, вплоть до сорочки и шелковых чулок, и облекся в это иноческое одеяние.

В нем он тотчас предстал в зале, где знатные господа еще оставались за трапезой. Увидев его в этом новом образе, все присутствующие не смогли унять слез; более же всех — маркиз, его отец. Как ни силился дон Ферранте сдержаться, он так и не смог прекратить плача всё то время, что они пребывали за столом.

Алоизий же с кротким ликованием, воспользовавшись случаем, с великой рассудительностью заговорил о бесчисленных поводах к преткновению и опасностях прогневать Бога, коими преисполнен сей мир. Он рассуждал о суете преходящих благ нынешней жизни, о великих трудностях, кои встречаются князья и властители на пути к спасению, и о том, сколь ревностно каждому надлежит заботиться о спасении души. Он говорил с такой силою духа и властью, что все знатные господа внимали ему с благоговейным почтением; и по сей день люди пересказывают это его поучение.

ГЛАВА XVII. О том, как Алоизий со всеми простился и, отправившись в Рим, вступил в Общество

На следующий день, третьего ноября, Алоизий откланялся герцогу Мантуи, принцу и знатым дамам, а вечером дома с великим смирением пал на колени и испросил благословения у отца и матери (которая к тому времени уже возвратилась из Пьемонта). Как плакали они, давая его — в особенности маркиз, отец святого, — всякий может легко себе вообразить.

Наутро юноша отправился в Рим со свитою, которую выделил ему маркиз. В нее входили: почтенный дон Лодовико Катанео, взятый им в качестве духовника на время пути, господин Пьерфранческо дель Турко, его воспитатель, доктор Джованни Баттиста Боно, камердинер и иные слуги. В час расставания с близкими, коих он оставлял навсегда, Алоизий выказал столь малое сокрушение о плоти и крови, что в это трудно было бы и поверить — при том, что он видел, сколь горько плакали все остальные, провожая его.

Младший брат его Родольфо, коему он уступил маркизат, сопровождал его в карете до самой реки По, где Алоизий должен был сесть на судно до Феррары. Всю дорогу и при самом расставании он хранил почти полное безмолвие, проронив лишь несколько слов. Когда же вскоре один из знатных господ, бывших с ним в лодке, заметил: «Полагаю, дон Родольфо ныне преисполнен великого ликования, вступая во владение вашим государством», — Алоизий отвечал:

«Не столь велика его радость о наследовании за мною, сколь велика моя — об отречении ради него».

Прибыв в Феррару, Алоизий навестил герцога Альфонсо д'Эсте и свою родственницу, герцогиню Маргариту Гонзага, после чего тотчас отбыл в Болонью. Во время путешествия он более всего желал посетить Святую хижину в Лорето — отчасти из

личного благоговения перед сим святым местом, где он прежде никогда не бывал, отчасти же ради исполнения обета, данного его матерью при самом его рождении. И хотя по веским причинам обет сей был заменен иными делами благочестия, кои родители уже исполнили в полной мере, Алоизий по-прежнему жаждал последовать первоначальному намерению матушки и своему собственному сердечному влечению.

Он задумал сперва заехать во Флоренцию к великому герцогу Франческо, а оттуда уже следовать в Лорето. Однако на границе владений герцога, в местечке Пьетра-Мала, он встретил столь строгую стражу, выставленную из-за угрозы чумы, что его не пропустили. Сколько ни твердили его спутники, какую знатную особу они сопровождают и куда держат путь, стражники остались непреклонны. Посему Алоизий был вынужден воротиться в Болонью, откуда и написал Его Высочеству письмо, извиняясь, что не смог лично засвидетельствовать свое почтение.

Из Болоньи он направился через Романью напрямик в Лорето. Невозможно описать, какую великую отраду и утешение излили в его душу Господь и Препоблагословенная Дева в те дни. В первое же утро в Святой хижине он отстоял пять или шесть обеден кряду, после чего с величайшим благоговением причастился. Размышляя о том безмерном благодеянии, коего в сем месте сподобился род человеческий, и о том, сколь неизреченное величие и святость были сокрыты здесь под покровом смирения, он весь истаивал в слезах и, казалось, был не в силах покинуть сей священный порог.

Дабы с вящей свободой в течение всего дня беспрепятственно пребывать в молитве и созерцании в сем святом месте, он не принял приглашения отца-ректора иезуитской коллегии Лорето поселиться у них, но предпочел остановиться со всеми своими слугами на постоялом дворе. После полудня он вновь возвращался в Святую хижину. Поскольку весть о том, кто он и ради чего держит путь в Рим, уже разнеслась повсюду, люди указывали на него друг другу, назидаясь благочестием столь знатного и богатого юноши. Всех поражало, что он с таким же рвением стремится к доле смиренной и нищей, с каким иные обычно ищут богатств и почестей. На следующее утро, прежде чем отправиться в путь, он вновь пожелал выслушать мессу и причаститься в Святой хижине. Проведя там еще долгое время в молитве, он наконец сел на коня и направился в сторону Рима.

Образ жизни, коего Алоизий придерживался в этом странствии, был таков. Едва восстав поутру, он посвящал четверть часа умной молитве, после чего вместе с доном Лодовико вычитывал канонические часы — Первый, Третий, Шестой и Девятый. Этот священник обучал его чину совершения Оффиция, ибо до того времени Алоизий не имел в том достаточного навыка.

Окончив часы, он читал молитву «В путь шествующих» (*Itinerarium*) и садился на коня. На протяжении многих миль он ехал в одиночестве, вдали от своих спутников, то творя «Ежедневное упражнение» и иные устные молитвы, то погружаясь в глубокие размышления и созерцание. Так, пребывая в седле, он пекся о делах благочестия не менее ревностно, нежели другие делают это в тишине своих покоев. Спутники его, зная, какую радость находит он в безмолвии и уединении, не дерзали прерывать его занятий и нарочно держались поодаль. Если же он желал нарушить молчание, то подзывал к себе дона Лодовико, и они вступали в беседу о Боге.

Когда наступал час дать отдых коням, Алоизий вкушал легкую трапезу, после чего вычитывал со священником Вечерню и Повечерие и вновь отправлялся в путь. Часть дороги он проводил в раздумьях о покаянных подвигах, к коим имел великую склонность; он надеялся, что в Ордене обретет полную свободу для их совершения.

Частью же он размышлял об Индиях и обращении язычников, питая надежду, что настанет день, когда настоятели отправят его в те края вместе с иными отцами, что ежегодно отплывают туда из Европы.

Вечером, прибыв на ночлег, он никогда не грелся у огня, хотя стояла середина зимы и он промерзал до костей. Вместо этого он тотчас запирался в комнате и, достав Распятие, которое всегда возил с собой, два часа кряду проводил в умной молитве. Он молился с такими слезами, рыданиями и вздохами, с такой силой сердечного сокрушения, что слуги, слыша это из-за двери, замирали в изумлении и невольном трепете.

В завершение молитвы он каждую ночь предавался долгому бичеванию, а затем, призвав дна Лодовико, прочитывал с ним Утреню и Хвалы. Лишь после этого он шел к столу и ужинал весьма воздержанно, избегая всякой тяжелой пищи. Он желал по-прежнему поститься по средам, пятницам и субботам, но священник, видя его изнеможение и тяготы пути, запретил ему это. Алоизий покорился из послушания, однако по прибытии в Рим тотчас вернулся к прежним постам. Отходя ко сну, он не позволял согревать свое ложе и не принимал помощи при раздевании. С тех пор как в Мантуе он облекся в иезуитское платье, он носил суконные чулки (чего прежде никогда не делал) и по вечерам сам с великим трудом стягивал их. Однажды священник, движимый состраданием, бросился помочь ему и, коснувшись его ног, обнаружил, что они совершенно заledenели, однако Алоизий, несмотря на все просьбы, так и не согласился погреться.

В Риме он остановился в доме сиятельного господина патриарха Гонзага. Немного отдохнув, Алоизий отправился в храм Иль-Джезу к отцу Клаудио Аквавиве, Генералу Общества Иисусова. Тот вышел в сад встретить его. Алоизий же, пав ниц у его ног, с глубоким смирением и любовью вверил себя Ордену как сына и верного послушника. Его долго не могли оторвать от земли.

Покинув Иль-Джезу, Алоизий нанес визиты некоторым кардиналам, и прежде всего — сиятельным Фарнезе, Алессандрино, Эсте и Медичи (последний был нынешним великим герцогом Тосканским). Все они приняли его с любовью и величайшей учтивостью, а Фарнезе и Медичи всячески убеждали его остановиться в их дворцах.

Исполнив долг вежливости перед кардиналами, он совершил паломничество к семи базиликам Рима и иным святыням, почитаемым в Вечном городе. Невозможно описать, сколь благоговейно он совершал сей путь от одного храма к другому: он непрестанно пребывал в размышлении и псалмопении, а в самих церквах являл знаки благоговения, ясно свидетельствовавшие о его глубокой внутренней преданности Богу.

Посетив святыни, Алоизий отправился за благословением к Папе Сиксту V, дабы вручить ему письмо от своего отца. Едва он вошел в папские покои, как придворные, прослышав о его намерении оставить мир, обступили его, взирая на него как на некое диво.

Представ перед Его Святейшеством и облобызав его стопу, он подал письма. Папа задал ему несколько вопросов о его призвании и, в частности, спросил, хорошо ли он поразмыслил о тяготах иноческой жизни. Алоизий отвечал, что уже давно и со всей тщательностью всё обдумал и взвесил. Его Святейшество, одобрив его решение и ревность, преподал ему благословение и отпустил с искренними проявлениями любви.

Это случилось в субботу. Из-за того ли, что накануне святой постился на хлебе и воде, или оттого, что в тот день, дожидаясь аудиенции у Папы, он смог вкусить пищу лишь в

двадцать два часа (по тогдашнему счёту, т.е. за два часа до захода солнца. — прим. пер.), вернувшись домой, юноша почувствовал себя дурно. Он испугался, не станет ли это новым препятствием к вступлению в Орден, но вскоре недомогание прошло.

На следующее утро, в воскресенье, Алоизий отправился в храм Иль-Джезу, где выслушал мессу и причастился в капелле свв. Авундия и Авундантия, что под главным алтарем. После он поднялся на хоры, где внимал проповеди, а затем по приглашению Отца Генерала остался обедать в трапезной вместе с сиятельным патриархом Гонзага. Вместо обычного чтения за столом Отец Генерал велел произнести поучение.

Патриарх не переставал дивиться скромности и благочестивому облику юноши, но более всего — его словам и ответам. «Удивительно, — говорил он, — сей отрок никогда не обронит неверного слова, но всякое его речение столь взвешено и точно!» Придворные же черпали в его примере великое назидание; более всего их поражало то, о чем упоминалось прежде: всякое утро за мессой в домашней капелле патриарха, в миг возношения Святых Даров, Алоизий обливался столь обильными слезами, что не мог их скрыть, как ни старался.

Наконец в понедельник утром, 25 ноября 1585 года, в день памяти св. Екатерины, девы и мученицы, Алоизий, коего возраст составлял тогда семнадцать лет, восемь месяцев и шестнадцать дней, преисполненный радости и ликования, взошел на Монте-Кавалло и вступил в новициат Общества Иисусова при храме Сант-Андреа. Сопровождали его спутники и сиятельный владыка Шипионе Гонзага, который отслужил для него мессу и собственноручно его причастил. Вместе с ними остался обедать и Отец Генерал, нарочно прибывший туда; ректором же той обители и наставником новициев был тогда о. Джованни Баттиста Пескаторе, муж святой жизни, о коем мы еще поведаем в своем месте.

Переступив порог сей обители, Алоизий обратился к тем, кто прибыл с ним из Мантуи, призывая их заботиться о спасении своих душ. Он поблагодарил доктора Боно за верное его спутничество и велел мажордому отправиться в Ливорно, дабы от его имени выразить признательность великому герцогу Тосканскому. Камердинеру он поручил передать приветствие госпоже маркизе, своей матушке, и, наконец, сказал дону Лодовико: «Передайте господину маркизу, отцу моему, такие слова от моего имени: «Забудь народ твой и дом отца твоего» (Пс 44:11).

Сим он желал дать понять, что отныне намерен забыть и об отчем доме, и о народе, и о государстве, кои он оставил. Когда же его спросили, что передать брату его Родольфо, он отвечал: «Скажите ему: «Боящийся Бога будет делать добро» (ср. Сир 15:1).

На том он расстался с ними; они же удалились, оплакивая потерю столь доброго господина и покровителя. Сиятельный патриарх Гонзага с чувством поблагодарил Алоизия, что тот доверил ему дело своего призвания, и обещал молить о нем Бога, притом, растроганный речами юноши, не мог сдержать слез; и даже признался, что питает к нему святую зависть, ибо Алоизий сумел избрать благую часть (ср. Лк 10:42). Уходя, он сказал отцам, что ныне им достался ангела из рая.

Когда Алоизий окончательно отрешился от мира и суеты, наставник новициев препроводил его в келью, где ему предстояло провести несколько дней в уединении и безмолвии. Здесь он должен был пройти свой первоначальный искуc (*prima probazione*) согласно установлениям Общества. Переступив порог этой комнаты, Алоизий ощутил себя так, словно вошел в рай, и воскликнул: «Это покой мой во веки веков; здесь буду обитать, ибо я избрал его» (Вульг. Пс 131:14).

Оставшись один, он преклонил колени и, преисполненный несказанной сладости, со слезами любви благодарил Бога за то, что Тот вывел его из Египта и привел в землю обетованную, текущую молоком и медом небесных утешений. Он принес себя в жертву и во совершенное всесожжение Божественному Величию, моля о благодати достойно обитать в доме Господнем, сохранить верность до смерти и почитать в Его святом служении. До конца дней своих Алоизий с великим благоговением чтит годовщину своего вступления в Орден и почитал своей особой заступницей св. Екатерину, чью память Церковь праздновала в тот день.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I. О том, сколь совершенно было житие св. Алоизия при прохождении новициата

Описав жизнь, которую святой Алоизий вел в миру, и добродетели, коими он был украшен до вступления в Орден, мы ныне приступаем к рассказу о том святом житии, которое он вел, будучи принят в Общество Иисусово.

В нем он стал подобен светильнику — возжженному, но сокрытому под спудом иноческого благочиния (ср. Мф 5:15), не будучи более выставляем пред взорами мира и не вступая в частое общение с ближними. Причиною было то, что он почил весьма юным, не успев завершить трудов своих в изучении богословия и не достигнув по возрасту лет для рукоположения во иереи.

К сему добавим, что в те немногие годы, что он прожил, настоятели с отеческой заботою, так сказать, связали ему руки: волею послушания был обуздан чрезмерный пыл, владевший им в миру. Ему пришлось умерить ту чрезмерную суровость, с коей он привык истязать самого себя, и прийти к жизни более умеренной и рассудительной.

Посему тот, кто стал бы судить о делах его лишь по некой внешней видимости, мог бы легко заключить, что, вверив себя послушанию, Алоизий положил конец тем предивным подвигам, которые прежде творил в отчем доме. Но если люди, искушенные в путях Божиих, взирающие оком чистым и просвещенным, рассмотрят его иноческое житие, то ясно увидят, сколь великое приращение совершенства обрел он под водительством святого послушания. Труды его в Ордене стали несравненно драгоценнее тех, коими он упражнялся в миру.

В Обществе он действовал с большим пониманием и разумением, преуспевая во многих добродетелях; совершенно совлекшись воли собственной, он облекся в волю Божию. Даже малейшие свои дела он облагораживал и придавал им высокое достоинство, ибо творил их всегда ради вящей славы Божией и с глубоким чувством подлинной любви.

Среди множества героических добродетелей святого, явленных им в этой второй поре жизни, две должно отметить особо.

Первая состоит в том, что Алоизий, по рождению и воспитанию будучи князем и имея сложение хрупкое и нежное, тем не менее столь полно сообразовался с общим укладом и иноческим благочинием, что ни в чем не отличался от прочих братьев. Он наотрез отказывался от всякого исключительного попечения или особых милостей, которые настоятели, особенно первое время, предлагали ему по собственному почину. Напротив,

он с таким рвением исполнял все монастырские послушания, сколь бы низменными и суровыми они ни были, словно привык не принимать услуги от других, но сам спокон веку быть всем слугою (ср. Мф 20:28).

Вторая же такова: он был глубоко убежден, что истинный и совершенный инок — это тот, кто в точности соблюдает все правила своего святого устава и прилагает все силы к тому, дабы в совершенстве исполнять даже малейшие из тех дел, кои Орден вменяет каждому из своих членов. Посему он со всяким прилежанием предавался совершенному следованию всем правилам и с великим рвением и точностью занимался, как все иноки, повседневными обязанностями.

Следуя этим путем, он достиг такой высоты совершенства, что по праву может быть поставлен в образец истинной святости всем инокам, желающим жить праведно, и в особенности — членам Общества Иисусова. Именно для пользы последних я и вознамерился описать вторую часть его жизни с величайшими подробностями, дабы в каждом малом будничном деле они имели перед собой пример для подражания.

В новициате Алоизий заложил прочное основание всякой добродетели. Когда он вступил в помянутую выше пору первоначального искуса, то провел все это время в глубоком уединении и совершенной собранности духа, исполненный мира и сердечной радости. Он то размышлял, то предавался чтению; впрочем, и само чтение его можно было назвать созерцанием — столь неотступно ум его был устремлен к Богу.

В это время его постигло некое недомогание, быть может, вызванное переменой воздуха и образа жизни, либо же покаянными трудами, которые он не прекращал, а возможно, и тем, что он со всем жаром и напряжением ума всецело отдался умственным упражнениям. Посему настоятели были вынуждены вывести его из затвора несколько раньше, чем то обычно полагается.

Они сделали это тем охотнее, что Алоизий прибыл уже хорошо подготовленным: всего несколькими месяцами ранее он совершил «Духовные упражнения» в Мантуе и изучил все правила и установления Ордена. Что же касается его призвания, то оно более не нуждалось в испытании, будучи уже проверено столь многими и тяжкими противлениями.

По завершении положенного срока первоначального искуса Алоизий был вверен заботам врача, дабы тот помог ему оправиться от недомогания. Когда же отдали в стирку белье, которое он носил по пути в Рим, все его сорочки оказались в пятнах крови — следствие тех ежедневных бичеваний, коим он предавался.

Когда же юноше было дозволено общение с братией, наставник новициев заметил, что Алоизий ходит со слишком низко склоненной головой. Желая отучить его от этой привычки, а равно и испытать его смирение, наставник велел изготовить для него высокий картонный воротник, обтянутый холстом: ему вменялось носить его плотно подвязанным к горлу, дабы он не мог склонять голову и был принужден держать её прямо. Алоизий носил это приспособление с великим ликованием и лишь кротко улыбался, когда во время бесед братья видели его в таком виде.

Ко всем новициям он относился с таким почтением и благоговением, словно сам был последним из слуг в этом доме. Он тотчас принялся просить у начальствующих дозволения на посты, бичевания, ношение власяницы и иные подвиги умерщвления плоти. Приметив же, что другие новиции не носят четырехугольных биретт, какую носил

он сам, и не имеют одежды из столь тонкого сукна, какую он велел шить себе еще в миру, Алоизий стал настойчиво упрашивать настоятеля выдать ему самую обычную рясу и шапку, какие носили все прочие; и просьба его была исполнена.

Но и этим он не удовольствовался: тяготясь тем, что его breviарий украшен золоченым обрезом и богатым переплетом, он испросил дозволения обменять его на одну из ветхих книг, бывших в обители. Так, мало-помалу, он отрешался и совлекался всего привезенного с собою, не желая удерживать при себе ничего, что хотя бы в малой мере «отдавало Египтом», то есть духом покинутого им мира.

Согласно учению Святых Отцов, подтверждаемому Священным Писанием, Господь наш в Своем высоком совете и по особому Промыслу Своему испытывает тех, кто посвящает себя Его служению и верно Ему следует. Испытание это совершается не чрез сатану и не по вине самих рабов Божиих, но непосредственно от Самого Бога исключительно ради искуса.

Прежде всего Господь поступает так с душами просвещенными, лишая их того духовного утешения, коим Он обычно наделяет их на пути служения. Более того, св. Бернард в одной из своих проповедей (Serm. in Cant. Ezech.) говорит, что подобное испытание не только обычно для Бога, но и духовно необходимо по причинам, которые он там излагает.

Сего милостивого испытания Божественное Величие не пожелало лишить и Своего раба Алоизия; напротив, в самом начале он испытал необычайное душевное томление (*desolazione*). И хотя оно не причиняло ему ни беспокойства, ни смущения и уж тем паче не склоняло ни к какому злу, оно все же лишало его той духовной сладости и радости, коими он привык утешаться почти непрестанно, еще пребывая в миру, и об утрате коих ныне скорбел.

Однако ему оставалось такое утешение: всякий раз, когда он приступал к молитве, он чувствовал полное облегчение, и вскоре весь мрак уныния рассеивался. Бог, Который сокрыл Себя, дабы испытать его и заставить еще сильнее жаждать Своего присутствия, вновь являл Себя Алоизию, утешая его новыми посещениями, и тот возвращался к прежнему миру и спокойствию.

В другой раз бес внушил ему такую мысль, дабы ввергнуть его в малодушие: «На что ты нужен Обществу?». Но Алоизий, распознав в этом искушение, тотчас воспротивился ему и через полчаса одержал полную победу.

Он признавался, что за все время новициата испытал лишь эти два искушения; в остальное же время наслаждался непрестанным миром и покоем. И в этом нет ничего удивительного, ибо в своих чувствах он уже возвысился над всякой земной случайностью и во всем полагался на божественное благоволение, отчего стал почти невозмутим.

ГЛАВА II. О том, как Алоизий встретил весть о смерти своего отца, господина маркиза

Свою совершенную отрешенность от земных привязанностей Алоизий явил со всею очевидностью, когда получил известие о кончине отца. Маркиз почил всего через два с половиной месяца после того, как его сын вступил в Общество; Алоизий же был столь мало тронут этим известием, словно оно вовсе его не касалось.

В тот же день, по совету наставников, он написал госпоже маркизе, своей матушке, письмо со словами утешения. Начал же он это послание таким вступлением: «Благодарю Бога, — писал он, — что отныне смогу с еще большей свободой говорить: „Отче наш, Иже еси на небесех“» (Мф 6:9).

Сие вызвало великое изумление у всех, и в особенности у тех, кто близко знал Алоизия и ведал, сколь глубокою любовь и почтение он всегда питал к отцу. Любовь его к родителю была столь велика, что на всей земле он не знал ничего дороже отца — разумеется, после любви, подобающей одним лишь небесам. Сам он признавался одному из братьев, что, взирай он на кончину отца лишь по-человечески, то, вне сомнения, испытал бы глубочайшую скорбь; но когда он помышлял, что всё свершается по воле Божией, то не мог сокрушаться о том, что было угодно Его Божественному Величеству. В этом вновь проявилось то, о чем мы уже упоминали: он возвысился над земными обстоятельствами, ибо во всем полагался на божественное благоволение.

В самой этой смерти, последовавшей столь скоро, он узрел знак особенной любви Божией к нему и проявление Его Промысла. Ибо если бы маркиз скончался всего двумя или тремя месяцами ранее, когда Алоизий еще не совершил формального отречения, или же если бы вступление его в Орден отложилось еще на три месяца, Отец Генерал не решился бы принять его, дабы не лишать род главы, столь способного к управлению. Да и сами подданные, глубоко любившие Алоизия, могли бы силой удерживать его, а он сам, дабы не оставлять государство в руках младшего брата, бывшего в ту пору юным и неопытным, мог бы счесть за благо остаться, по крайней мере на время, ради пользы подданных; и один Бог ведает, что случилось бы после.

Но Бог, возлюбивший Алоизия, пожелал сперва даровать ему благодать иночества и всецело освободить его от мирских уз и лишь затем призвал маркиза к Себе.

Не менее явственно Промысл Божий открылся и в судьбе самого маркиза. Сей государь, во всю жизнь бывший доблестным кавалером и ревностно искавший мирских почестей и величия для себя, своих детей и рода, после вступления Алоизия в Орден совершенно переменял образ жизни. Он с таким рвением предался делам благочестия, что приводил в изумление всех очевидцев.

Маркиз окончательно оставил игру, к которой прежде питал немалое пристрастие. Каждый вечер он велел приносить к своей постели, к которой был прикован подагрой, Распятие, оставленное Алоизием. Перед ним он прочитывал семь покаянных псалмов и литанию, в чем ему помогал Гизони (бывший камердинер Алоизия, которого маркиз удержал при себе). На литании же к нему присоединялись маркиза и другие дети, подававшие возгласы.

Во время этой молитвы маркиз проливал столь обильные слезы, сопровождаемые вздохами и рыданиями, что в них явно открывалось, сколь глубоко умилялась его душа и сокрушалось сердце. В завершение же он брал в руки Распятие и, бия себя в грудь, со многими слезами повторял: «*Miserere Domine, Domine peccavi, miserere mei*» — то есть: «Помилуй, Господи; Господи, я согрешил, помилуй меня» (ср. Лк 15:21; Пс 50:3). Дивясь тому, сколь легко ныне исторгались у него слезы, маркиз говаривал: «Я доподлинно знаю, откуда эти слезы: всё это — дело Алоизия. Алоизий испросил у милосердного Господа сие сердечное сокрушение для меня».

Более того, призвав к себе о. Лодовико Катанео, который к тому времени уже вернулся из Рима, маркиз отправился с ним в святилище Мадонны делле Грацие близ Мантуи. Там он

принес ему генеральную исповедь за всю свою жизнь, совершив её с величайшим тщанием и сокрушением о грехах, о чем рассказывал мне сам о. Лодовико; и в этом рвении, единожды в нем пробужденном, маркиз пребывал неизменно до самого конца.

Видя, что недуг одолевает его всё сильнее, он велел перевезти себя в Милан, надеясь, что местные врачи найдут способ его исцелить, однако за несколько дней болезнь привела его к самому порогу смерти. Узнав об этом, достопочтенный отец Франческо Гонзага (всё еще пребывавший в сане генерала своего Ордена и находившийся тогда в Милане) пришел навестить его однажды поздним вечером, дабы приготовить его к близкому исходу. Маркиз же, сам прозревший причину столь позднего визита отца Генерала, просил его прислать того из иезуитов, кого тот сочтет достойным, ибо желал исповедаться. Исповедь была совершена в тот же вечер.

На следующий день Отец Генерал вновь навестил его, напоминая о необходимости составить завещание. Маркиз исполнил это и, распорядившись обо всех делах, стал утешать плачущих домочадцев. Он говорил, что им должно радоваться тому, что Бог призывает его к Себе в таком благом расположении духа. Он почил 13 февраля 1586 года; тело его, согласно его воле, было перевезено в Мантую и погребено в церкви св. Франциска.

Алоизий, узнав об обстоятельствах этой кончины от упомянутого Отца Генерала и от своих домашних, исполнился великой радости и возблагодарил за то Бога.

ГЛАВА III. О ревности святого Алоизия к умерщвлению плоти в бытность его новицием

Алоизий часто повторял, что усвоил от отца своего, маркиза, такое правило: если кто избирает себе поприще или берется за какое-либо дело, то должен прилагать всё старание, дабы исполнить его с наивысшим совершенством. И коль скоро отец его следовал сему правилу в мирских предприятиях, то Алоизий почитал своим долгом тем паче следовать ему в делах Божиих. Всеми своими поступками он явил, сколь глубоко воспринял это наставление, ибо с великим горением духа всегда стремился к умерщвлению плоти и стяжанию всякой добродетели.

Достойно упоминания и то, что рассказывали о нем в ту пору с великим изумлением: он уже тогда настолько отрешился от всякой мысли о родных, что, казалось, вовсе забыл о них. Посему, когда его однажды спросили, сколько братьев осталось у него в миру, он не смог ответить, прежде чем мысленно пересчитал их. В другой раз на вопрос одного священника, не досаждают ли ему когда-либо мысли о близких, он отвечал, что нет, ибо помышляет о них лишь тогда, когда желает всех вместе поручить их Богу. По благодати Божией он был столь полным владыкою своих помыслов, что никогда не думал ни о чем, кроме того, чего желал сам.

Алоизий с таким прилежанием оберегал свои чувства, что можно было по праву сказать: имея очи и уши, он ничего не видел и не слышал (ср. Пс 113:13–14); пребывая телом здесь, на земле, умом он всегда обитал на небесах.

Собратья никогда не видели в его руках благовоний или иных предметов, издающих приятный запах, и сам он никогда не искал их. Когда же он отправлялся в больницы служить страждущим (а просился он туда часто), то по преимуществу подходил к самым зловонным больным и сносил тяжелый дух и вонь без малейшего признака неудовольствия.

Он умерщвлял осязание и плоть бичеваниями, власяницами, постами на хлебе и воде и иными покаянными трудами и телесными подвигами, коих творил немало — однако не в той мере, в какой желал бы сам, ибо по причине хрупкого сложения Алоизия настоятели не всегда давали на то дозволение; и ни о чем он не скорбел так сильно, как о невозможности в полной мере следовать своему рвению к подвигам.

Как-то раз он доверительно признался одному из отцов, что, вступив в Орден, не несет почти никаких покаянных трудов в сравнении с теми подвигами, коим предавался в миру. Однако он обретал утешение в мысли, что иночество подобно кораблю: на нем к цели странствия приближаются и те, кто по воле послушания пребывает в покое, ничуть не меньше тех, кто в поте лица трудится на веслах.

В один из дней накануне праздника он испросил у наставника новициев дозволение поститься на хлебе и воде, и просьба его была исполнена. Когда же он пришел к трапезе, наставник заметил, что Алоизий почти ничего не ест. Дабы подвергнуть его кротость новому испытанию, он подозвал юношу и велел ему идти ко второй трапезе и съесть всё, что ему там подадут. Алоизий из послушания вернулся и исполнил всё, что было предписано.

По окончании второй трапезы один из братьев, заметивший это, решил подшутить над ним и сказал: «Ну и ну, брат Алоизий! Хорош твой способ поститься: сначала поесть совсем мало, чтобы потом вернуться и поесть во второй раз». Алоизий же, слегка улыбнувшись, отвечал: «Что же мне делать? *Ut iumentum factus sum apud te et ego semper tecum* — „Я стал пред Тобою как скот, и я всегда с Тобою“, — как говорит Пророк (ср. Пс 72:22–23; Вульг. Пс 72:23)».

Что до слуха, он никогда не внимал тем, кто рассказывал новости или иные пустяки, притом, если была возможность, старался переменить предмет беседы. Если же то были люди почтенные, Алоизий хранил такое молчание и столь строгую сосредоточенность, что по одному его виду можно было понять: он слушает их не по своей воле. Хранение очей, коим он отличался еще в миру, как о том уже было сказано, стало в Ордене еще строже.

Новициям вошло в обычай по несколько раз в год ради отдохновения ходить в некий виноградник; Алоизий уже не раз бывал там вместе с прочими братьями. Случилось так, что по некоему стечению обстоятельств новициев отправили в иной виноградник, не в тот, где они бывали прежде. По возвращении домой Алоизия спросили, какой из двух виноградников понравился ему более; этот вопрос немало смутил его, ибо до того мгновения он был уверен, что посетил то же самое место, что и всегда. Несмотря на то, что и дорога, и расположение комнат, и всё прочее в том поместье было совершенно иным, он ничего этого не заметил. Лишь после долгого раздумья он вспомнил, что видел там некую часовню, которой не было в прежнем винограднике.

Пробыв в новициате уже три месяца и ежедневно посещая трапезную, он всё еще не знал, в каком порядке стоят в ней столы. Однажды, когда наставник послал его принести из трапезной книгу, оставленную на месте отца ректора, Алоизию пришлось расспрашивать братьев, где именно находится это место и где обычно сидят священники.

В другой раз, прожив в обители уже несколько месяцев, он поведал своему наставнику о тяжком сомнении совести, которое его тяготило. Алоизий винил себя в том, что два или три раза его взор невольно и без всякого желания упал на соседа по столу. Он искренне опасался, не было ли в том греховного любопытства; более того, он добавил, что это

было первое подобное нарушение правила хранения очей, которое он допустил с момента вступления в Общество.

Вкус к пище у него, казалось, совершенно угас. Он не находил в еде никакого удовольствия и никогда не заботился о том, была ли она хороша или дурна, вкусна или безвкусна, солоната или пресна. Он неизменно старался выбрать для себя худшее из того, что ему предлагалось. Во время трапезы ум его всегда был занят благочестивым размышлением; помимо того что он внимал чтению за столом, по утрам он помышлял о желчи, которой напоили Спасителя на Кресте (ср. Пс 68:22; Мф 27:34), а по вечерам созерцал в духе святейшие тайны Тайной Вечери, совершенной Господом с Его учениками (ср. Лк 22:15).

Более всего Алоизий радел о хранении уст. Он оберегал их столь строго, что человеку, не знающему, как легко преткнуться в речи, такая щепетильность могла бы показаться чрезмерной. Он беспрестанно возносил к Богу краткую молитву из псалма: «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих» (Пс 140:3). В беседах же он часто вспоминал изречение: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный» (Иак 3:2), а также: «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка... у того пустое благочестие» (Иак 1:26).

Алоизий несравненно более любил молчать, нежели говорить, и с неопишуемой строгостью соблюдал правило безмолвия как в обители, так и за её стенами. Однажды, когда его назначили сопровождать некоего священника, юноша, зная, что дозволение выйти в город не означает права давать волю языку, взял с собою духовную книгу. Едва покинув обитель, он принялся за чтение и весь путь провел в молитве и раздумьях, не обратив к спутнику ни единого слова. Священник же, назидаясь таким примером, не стал тревожить его и сам предался созерцанию.

Любовь Алоизия к тишине рождалась не только из страха оскорбить Бога неосторожным словом, но и из той внутренней сладости духовных даров, коими он наслаждался непрестанно и которые отнимали у него всякий вкус к мирским разговорам. Если же нужда всё же заставляла его говорить, он был предельно осмотрителен, взвешивая, если можно так выразиться, каждый слог.

В Обществе заведено, выходя из обители, сообщать привратнику, куда направляешься. Поскольку римских новициев часто посылали в дом профессов прислуживать за литургией или слушать поучения, Алоизий спросил наставника: не будет ли праздным словом (ср. Мф 12:36) фраза «Иду в дом профессов», если для ясности вполне достаточно сказать «Иду в дом»?

В часы рекреации (то есть в краткое время отдыха после трапезы, когда братьям дозволяется побеседовать) он всегда вел речи о Боге. Бывало, начав говорить, он вдруг усматривал причину, по которой молчание было бы полезнее; тогда он умолкал на полуслове и, как бы его ни упрашивали продолжить, более не произносил ни слова, пребывая в глубокой сосредоточенности.

Что до одежды, Алоизий настойчиво просил, чтобы ему выдавали самое ветхое и поношенное платье из тех, что имелись в обители. Когда же настоятель однажды велел шить юноше новую рясу, тот выказал такое явное огорчение, что это заметили и портной, и другие очевидцы.

Позже святой поведал наставнику о пережитом смущении. Тот же дал ему такой ответ: «Знай, что и эта досада может брать начало в самолюбии — из тайного желания сохранить в глазах братьев доброе имя и славу смиренника». Эти слова побудили Алоизия в течение многих дней испытывать свои помыслы, дабы отыскать истинный корень этого чувства.

Сколько бы юноша ни испытывал себя, он не нашел в том своей вины. Более того, он обнаружил, что хотя в начале новициата у него и возникали порой самодовольные помыслы, по благодати Божией он всегда возвышался над ними и ни разу не дал на них внутреннего согласия. Дабы окончательно обезопасить себя, блаженный в течение нескольких месяцев посвящал все размышления о Страстях Господних одной цели: искоренить в себе даже зачатки самодовольства и стяжать святую ненависть и презрение к самому себе (ср. Лк 14:26).

К умерщвлению собственного самолюбия он стремился даже более ревностно, нежели к истязанию плоти, полагая, что для людей рассудительных таковые подвиги более полезны и необходимы. Благодаря постоянному упражнению Алоизий достиг того состояния, когда более не чувствовал никакого внутреннего сопротивления, творя подвиги смирения и самоуничужения как в стенах обители, так и на людях.

Алоизий часто просил дозволения ходить по Риму в лохмотьях с сумою через плечо, испрашивая милостыню. На вопрос, не чувствует ли он при этом стыда или внутреннего содрогания, он отвечал, что нет, ибо всегда поставлял перед собою пример Христа, принявшего образ раба (ср. Флп 2:7), и помышлял о вечной награде, стяжаемой этим трудом. Сих помышлений ему было довольно, чтобы исполнять это послушание с великим усердием и радостью.

Более того, он говаривал, что, рассуждая по-человечески, даже не понимает, в чем здесь может заключаться подвиг умерщвления. «Ведь те, кто меня видит, — рассуждал он, — либо знают меня, либо нет. Если они меня не знают, то мне нет дела до их суждений, и я не могу чувствовать себя униженным перед незнакомцами. Если же они меня знают, то это служит им лишь к вящему назиданию, я же нисколько не теряю в их глазах. Напротив, в этом случае скорее кроется опасность тщеславия, нежели повод к самоуничужению; ибо когда человек знатный становится нищим не по нужде, а ради любви к Богу, то даже люди мирские почитают это за дело преславное и достойное уважения».

Подобным образом в праздничные дни его посылали на площади и улицы Рима учить народ основам христианской веры и наставлять бедных и крестьян в катехизисе. Делал он это с такой сердечной радостью и любовью, что всякий видевший его получал глубокое назидание. Случалось, что даже высокие прелаты останавливали свои кареты, дабы послушать речи святого юноши.

Однажды он встретил человека, который не исповедовался шесть лет. Алоизий так долго убеждал его и говорил с такой силой духа, что пробудил в нем раскаяние и привел его к исповеди. Юноша сам отвел его к одному из отцов в храм Иль-Джезу, как делывал не раз и в иных подобных случаях.

Алоизий признавался, что чувствует лишь тень смущения — и то лишь тогда, когда его принародно, в трапезной или в зале, обличали в недостатках. Происходило это вовсе не оттого, что он дорожил мнением других о своей добродетели (ибо до людских суждений ему не было никакого дела), но лишь потому, что сами эти изъяны были ему ненавистны.

Посему он ни о чем не просил так часто, как о том, чтобы его поправляли при всех, утверждая, что извлекает из того великую пользу.

И хотя благодаря власти над собственным воображением он мог бы легко отвлечь свои мысли и вовсе не слышать слов упрека, он никогда не делал этого, дабы не обкрадывать, как он говаривал, святое послушание и стяжать вящую мзду. Напротив, когда его принародно порицали, он старался пробудить в себе сердечную радость, помышляя, что через сие малое страдание он уподобляется Христу Господу (ср. Ис 53:7; Флп 2:5–8). Сие размышление часто служило ему предметом долгого созерцания.

Наставник новициев, видя столь великую осмотрительность Алоизия во всех делах, пожелал однажды испытать его в том, что юноше было незнакомо. На несколько дней он назначил его помощником трапезничего, вменив ему в обязанность подметать, чистить и накрывать столы в общей трапезной. При этом наставник велел самому трапезничему намеренно обходиться с Алоизием сурово и пристрастно, во всем ему перечить и досаждать выговорами. И хотя юноша исполнял всё порученное безукоризненно, он безмолвно сносил даже напрасные придирки, так что брат не дождался от него ни единого слова в самооправдание. Изумленный столь глубоким смирением и кротостью, трапезничий едва верил своим глазам, видя перед собою столь явный образец совершенства.

Однажды патриарх Гонзага навестил Алоизия в новициате. Уходя, он отвел отца ректора в сторону и спросил, как ведет себя юноша. Ректор же отвечал: «Владыка, я не могу сказать Вашему Сиятельству ничего иного, кроме того, что всем нам должно почерпнуть немалое назидание из его примера».

Словом, уже в первые месяцы своего новициата он был столь внешне собран и скромнен, столь воздержан в пище и предан посту, столь суров в укрощении своего тела и склонен к духовным подвигам (особенно же к тем, что попирают мирскую честь); столь ревностно исполнял все правила, даже малейшие, столь смирен был сердцем и приветлив в обхождении, столь почтителен к старшим и послушен их велениям, столь предан Богу и отрешен сердцем от всего мирского, столь пламенел любовью и был совершенен в каждой добродетели, что все новиицы в открытую называли его святым. Из благоговения они целовали вещи, которых он касался или которыми пользовался, и относились к нему с великим почтением, как к священному существу.

Даже те, кто не принадлежал к числу новициев, старались заполучить вещи, бывшие у него в обиходе, дабы хранить их как реликвии праведника. В то же самое время у него взяли официий Пресвятой Девы, с которым он пришел мира, дабы приберечь его в знак почтения (он и поныне пребывает на Сицилии); а один отец-проповедник хранит как святыню бревиарий, которым Алоизий пользовался в миру и взял с собою в обитель. С тех самых пор и другие почитают эти вещи за реликвии — столь быстро открылись всем его святость и совершенство.

ГЛАВА IV. О радости Алоизия от того, что он был послан в Дом профессов прислуживать на мессах

В Риме заведено, чтобы новиицы Общества Иисусова, пробыв несколько месяцев в обители Сант-Андреа и достаточно окрепнув в иноческом благочинии, на несколько недель или месяцев переезжали в Дом профессов (именуемый Иль-Джезу). Там для них отведены отдельные покои, а сами они занимаются тем, что прислуживают на мессах, читают вслух за трапезой и выполняют иные подобные послушания, каковыми

занимались бы и в новициате¹. Заботу об их повседневных делах поручают одному из самих новициев, именуемому префектом; он распределяет послушания и следит за распорядком дня. Духовное же руководство ими вверяется почтенному и опытному в духовных вопросах отцу, который принимает их исповеди и исполняет в этом доме обязанности наставника новициев.

Алоизий пробыл в новициате около трех месяцев, когда отец ректор распорядился о его переводе в Дом профессов. Это веление юноша встретил с великим утешением, имея на то две причины чисто духовного свойства.

Первая причина состояла в том, что он чаял почерпнуть назидание из святых примеров старейших отцов сего дома. Многие из них, отдав долгие годы управлению Орденом или служению Обществу на иных поприщах, ныне пребывали в этой обители на покое, посвящая себя молитве и литургии; иные же помогали Отцу Генералу в руководстве всем Орденом. Все они являлись для братьев живым правилом иноческого жития.

Вторая же причина проистекала из того великого благоговения, которое Алоизий питал к Пресвятому Таинству Алтаря. Еще в отцовском доме он находил великую отраду в прислуживании за мессой; ныне же, когда ему было вверено именно это послушание, он исполнился величайшего духовного утешения.

Исключительная любовь Алоизия к сему достопоклоняемому Таинству была настолько известна всем его знакомым, что некоторые в Риме, вознамерившись запечатлеть его облик на холсте, сочли наиболее достойным изобразить юношу в молитвенном поклонении пред Святой Гостией. Сие глубокое благоговение проистекало из тех дивных духовных утешений, коими Господь наделял его во время причастия; и в том нет ничего удивительного, если помыслить о чистоте его души и о том тщании, с коим он приуговлялся к принятию Святых Тайн.

Одно причастие служило ему приготовлением к следующему. Тщательно распределив дни недели, он посвящал первые три — понедельник, вторник и среду — благодарению Лиц Пресвятой Троицы, воздавая славу Каждому из Них за милость, которой сподобился в минувшее воскресенье. Три последующих дня — четверг, пятницу и субботу — он проводил в молении к тем же Божественным Лицам, испрашивая у Каждого из Них благодати достойно приступить к Небесной Трапезе в день грядущий. В течение всей недели он по нескольку раз в день в положенные часы заходил в храм или на хоры, дабы навестить Пресвятое Таинство и предаться молитве.

Накануне причастия Алоизий ни о чем ином не вел бесед, кроме как о сем святом таинстве. Он рассуждал о нем с таким благоговением и жаром, что даже иереи в субботу во время отдыха искали его общества, желая напитаться его возвышенными помыслами об этой непостижимой тайне. Позже они признавались, что никогда не совершали Бескровную жертву с таким умилением, как в те воскресенья, когда сердца их еще горели (ср. Лк 24:32) от слов юноши. Слава об этом так распространилась, что всякий брат, желавший приступить к алтарю с вящим чувством, старался накануне встретить Алоизия и искусно склонить его к беседе на сей предмет.

В субботу вечером он ложился в постель с этими помыслами, а в воскресенье поутру, едва воспрянув от сна, тотчас возвращался к ним. После он проводил час в размышлении о Святом Причастии, а затем вместе с другими шел в храм внимать мессе, во время которой неизменно пребывал на коленях в совершенной неподвижности. Причастившись же, он удалялся в укромный уголок и долгое время оставался там, словно отрешенный от

чувств; казалось, он с трудом находил в себе силы, дабы подняться на ноги и покинуть храм. Сердце и душа его в эти мгновения преисполнялись божественной любви и небесной сладости. Весь остаток утра он проводил в святом безмолвии, порой молясь — как устами, так и сердцем, — а порой читая святыя творения св. Августина или св. Бернарда.

¹ Этот переезд был важной частью иезуитской системы искуса (*probationes*). Хотя вид послушаний (служение, чтение) не менялся, менялся сам контекст: новициат Сант-Андреа был уединенной «школой», а Дом профессов — административным и духовным центром Ордена. Это служило проверкой того, сохранит ли новиций сосредоточенность в более деятельной обстановке, а также давало возможность видеть пример старейших отцов и больше времени проводить у алтарей главного храма Общества.

ГЛАВА V. Свидетельство, которое оставил о святом Алоизии отец Джироламо Пьятти

Прибыв в Дом профессов с великим духовным утешением, Алоизий встретил там отца Джироламо Пьятти — мужа благочестивого, исполненного духа и стяжавшего глубокое познание в путях иноческого совершенства, о чем ярко свидетельствуют изданный в печати труд и иные его писания на эту тему, которые из-за его преждевременной кончины так и не увидели света, оставшись неоконченными, к великому огорчению для людей духовного звания. В этих сочинениях он с необычайной ясностью описывал, как отвращать сердце от привязанности к миру сему, как умерщвлять плоть и преобразовать её духом, как обуздывать движения души, искоренять пороки и злые навыки. Он объяснял, каким образом иноку стяжать добродетели, необходимые как для внутреннего делания, так и для служения ближним, дабы соединиться в совершенной любви с Богом. Отец Джироламо успел окончить две книги и приступил к третьей, когда смерть пресекла его земной труд.

Сей ревностный и рассудительный отец несказанно радовался, когда Алоизий оказался под его опекой, ибо с самых первых дней знакомства составил о юноше исключительно высокое мнение, о чем можно судить по письму, написанному его собственной рукой одному молодому собрату из Общества, обучавшемуся в Неаполитанской коллегии. В нем он сообщает множество сведений, касающихся призвания Алоизия. И хотя некоторые из них уже были изложены выше, мне показалось уместным привести здесь это письмо полностью, дабы подтвердить всё сказанное свидетельством столь почтенного отца.

Вот что пишет отец Джироламо:

«Дорогой во Христе брат! Pax Christi¹.

На письмо твое, возлюбленный Вителлески², полученное мною на днях, не знаю я ответа лучшего и более отрадного, нежели весть о вступлении к нам замечательного новиция — тому пять дней, а именно в день св. Екатерины, он прибыл в обитель Сант-Андреа. Имя сему юноше — Алоизий Гонзага; он первородный сын знатного маркиза из краев Мантуанских и близкий родственник тамошнего герцога. По праву первородства он должен был наследовать власть в государстве, но Господу нашему угодно было избрать его для Себя.

Еще пребывая при испанском дворе короля Филиппа, года два назад, Алоизий твердо решил вступить в Общество Иисусово. Он открыто объявил о своем намерении отцу, который в то время находился при дворе; маркиз же, испытав сына многими способами, в конце концов дал свое согласие. Вскоре по возвращении из Испании маркиз написал синьору Шипионе Гонзага (ныне Патриарху Иерусалимскому), своему родственнику, дабы тот переговорил с нашим Отцом Генералом и представил Алоизия Обществу от его имени.

Однако, поскольку юноша был первенцем и наследником, надлежало прежде передать права владения его брату. Для сего требовалось соизволение Императора, из-за чего дело затянулось на многие месяцы. Наконец, когда всё было устроено и добрый юноша чаял уже войти в тихую гавань, отец вновь надолго задержал его. То ли по причине великой любви и надежд, кои он возлагал на сына, то ли считая его еще незрелым (как он сам писал недавно Отцу Генералу), маркиз никак не мог решиться дать окончательное дозволение и год за годом пытался отложить уход Алоизия.

Тут-то и явились миру необычайное постоянство и духовный жар юноши. Несмотря на невыразимое почтение к отцу, он ни на миг не переставал докучать ему просьбами и испытывать все возможные средства. Видя же непреклонность родителя, он не раз направлял Отцу Генералу пламенные письма, умоляя дозволить ему уйти тайно, не проронив ни слова домашним. Но поскольку Генерал не дозволил сего, дело тянулось до нынешней поры, пока — не знаю уж, как именно — дозволение наконец было получено. Алоизий прибыл в Рим в одеянии клирика, сопровождаемый свитой примерно в десять всадников.

Приезд его был столь приметен, что повсюду, где он проезжал, люди знали: сей знатный юноша едет, дабы вступить в Общество. То же повторилось и здесь, в Риме, где он несколько дней гостил в доме сиятельного господина Шипионе Гонзага. Когда же Алоизий отправился к Папе испросить благословения на свой подвиг, весть о его намерении разнеслась по всему папскому дворцу. Люди обступали его со всех сторон: взирая на юношу, чьи помыслы столь разнились с их собственными, они смотрели на него как на некое чудо.

Наконец в минувший понедельник, в день св. Екатерины, как я уже говорил, он прибыл в Сант-Андреа, причем сопровождал его сам Патриарх, который после остался обедать вместе с Отцом Генералом.

Что же касается его личных качеств, то будьте уверены: столь высокая знатность, о коей вы слышали, — лишь малейшее из его достоинств. Ибо дарованиями он наделен такими, что, не достигнув еще восемнадцати лет и проведя столь долгое время при дворе, он весьма сведущ в логике и физике. Благоразумие же его и рассудительность в речах, скажу вам начистоту, повергают всех нас в изумление; и не ищите иного тому доказательства, кроме того, что маркиз, его отец, уже давно полагался на него во многих делах своего дома. В письме, коим он представил сына Отцу Генералу, маркиз свидетельствует, что вручает Ордену дражайшее свое сокровище и величайшее упование всей своей жизни.

Но всё это — ничто в сравнении с его добродетелью и благочестием. Он сам признается, что впервые проникся страхом Божиим примерно в восемь лет, и это с очевидностью подтверждается теми глубокими чувствами, коими он ныне исполнен. В молитве он проливает непрестанные слезы и пребывает в почти неизменной собранности духа, что явственно отражается на его лице и во всем его обхождении. Домашние его сказывают, что ежедневно он посвящал четыре или пять часов мысленной молитве, не считая

ночных бдений, о которых они не могли знать доподлинно: ведь уже долгое время он не позволял никому раздевать и разувать его, но запирался в комнате и предавался духовному деланию, не зная иной меры, кроме собственного усердия и пламени сердца.

А чтобы вы не подумали, будто я преувеличиваю, скажу лишь одно: отец Андреа Спинола, побеседовав с ним, исполнился к нему такой любви и так восхитился его дарованиями, что, как позднее признался мне, мои похвалы в адрес юноши показались ему слишком холодными — при том, что вы сами видите, как я о нем отзываюсь. Такое же суждение составили о нем и Отец Генерал, и все наши братья здесь в Риме, а равно и в Милане, и в Мантуе, где он провел какое-то время.

Не знаю, подобает ли мне сообщать об остальном, ибо боюсь омрачить вашу радость, как она ныне и у нас самих несколько умалилась. Однако не смею умолчать об этом, дабы призвать вас к усердной молитве о нем. Знайте же: при всей полноте даров естества и благодати, ему недостает лишь одного — телесного здоровья. Он столь немощен, что один лишь взгляд на него вселяет в нас тревогу. Еще за день или два до вступления в обитель он стал чувствовать боль в груди. Причину сему он усматривает в следующем (и в этом вновь открывается его благочестие): по обыкновению своему он постился в пятницу на хлебе и воде. В минувшую пятницу он поступил так же, а на следующий день, как я уже писал, был вынужден отправиться в папские палаты, дабы облобызать стопу Святейшего Отца; там он ожидал аудиенции натошак до двадцати двух часов³, отчего вконец изнемог.

Впрочем, будьте уверены: если доброе попечение может ему помочь, то он отнюдь не будет лишен ни ухода, ни заботы. Так распорядился Отец Генерал, и веление его уже исполняется. Так что, без сомнения, под рассудительным надзором настоятелей Общества ему станет лучше, нежели когда им руководил или, вернее, увлекал его за собой неумеренный пыл. Посему молитесь Господа о нем; и не сомневайтесь: если Господь дарует ему жизнь и здоровье, вы увидите, какие великие дела он совершит ради служения Богу и на благо нашего Общества.

Я решил описать вам всё это столь подробно (хотя и опустил многое, что послужило бы к назиданию), дабы разделить с вами ту великую радость, которая в эти дни воцарилась среди всех наших братьев, так что почти ни о чем ином и не говорят. Прошу лишь об одном: в уплату за утешительные вести, коими я с вами поделился, горячо молитесь Господа, дабы Он даровал мне благодать быть истинным братом и подражателем сей драгоценной жемчужины, которую Его Божественное Величество призвал в наше святое Общество. Да благословит вас Бог.

Из Рима, 29 ноября 1585 года. Ваш во Христе брат и слуга Джироламо Пьянти».

Хотя о Джироламо еще не было близко знаком с Алоизием в пору написания сего письма, всякому очевидно, сколь высокого мнения он был о нем уже тогда. Когда же позже он стал духовником юноши и часто беседовал с ним о делах Божиих и о спасении души, то убедил его во всех подробностях поведать об обстоятельствах своей жизни — тех самых, которые он впоследствии описал сам (как о том упомянуто в предисловии к сему труду).

О Джироламо прозрел в Алоизии такую непорочность, такую просвещенность в делах Божественных и столь высокую степень совершенства, что с того времени почитал его за великого святого и открыто свидетельствовал об этом всякому, с кем ему доводилось завести речь о молодом князе.

Как-то раз, беседуя с одним из отцов о небесном отечестве, он заметил, что святые в раю столь полно сообразуются с волей Божией, которую созерцают и познают, что не желают и не любят более ничего, кроме того, что любит и желает Сам Бог. «Мнится мне, — сказал он, — что в нашем Алоизии мы видим тому живое свидетельство. Взирая на небожителей, которые, сообразовавшись с волей Господа, находят в Нем свое высшее радование, я чувствую, что ныне все силы свои они полагают на то, чтобы украшать Алоизия небесными дарами, помогать ему и молиться о нем. И кажется мне, будто они состязаются меж собою в благодеяниях ему — столь возлюбил его Бог и они сами, столь преисполнен он добродетелей и сверхъестественной благодати».

Тот же отец во время побывки проездом в Сиене восхвалял героические добродетели юноши в ответ на недоумение одного священника, который дивился тому, что при столь явном сиянии святости Алоизий не творил при жизни многих и явных чудес. То же самое, помнится мне, я слышал и от кардинала Беллармина: зная необычайную святость Алоизия, он выражал удивление, что тот не совершал при жизни очевидных чудес, о коих стало бы известно всем.

¹ *Краткая формула Pax Christi («Мир Христов») ставшая традиционным иезуитским приветствием, прямо восходит к апостольским посланиям. Св. Павел практически каждое свое письмо начинает словами: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (напр., Рим 1:7, 1 Кор 1:3). В Послании к Колоссянам (3:15) эта формула звучит так: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий (в Вульгате — pax Christi)».*

² *Муцио Вителлески (1563–1645) — в описываемое время молодой иезуит, впоследствии ставший близким другом св. Алоизия. В 1615 году был избран шестым Генеральным настоятелем Общества Иисусова.*

³ *По тогдашнему счёту — за два часа до захода солнца, т.е. около 4 часов дня по нашему.*

ГЛАВА VI. О поступках святого Алоизия в Доме профессов

Алоизий пробыл в этом доме дольше, чем обычно дозволяется новициям. Каждое утро, окончив положенный час мысленной молитвы, он направлялся в ризницу и, прежде чем покинуть её, успевал прислуживать на пяти или шести мессах с величайшим благоговением и духовной отрадой. Причем, исполнившись сострадания к своим братьям-новициям, а в особенности к двоим из них, что казались ему немощными телесно, он самолично пошел известить о том настоятеля и сообщил ему, что братья не пекутся о собственном здоровье и прислуживают на слишком многих мессах.

В промежутках между мессами, оставаясь в ризнице, он неизменно хранил безмолвие, не произнося ни единого слова. Укрывшись в укромном углу, он либо предавался размышлениям, либо молился по Часослову Пресвятой Девы, либо читал какую-нибудь душеполезную книгу. Когда же возникала нужда о чем-либо спросить ризничего или известить его о чем-либо, Алоизий подходил к нему, держа биретту в смиренно сложенных на груди руках, причем заговаривал так почтительно и скромно, что сам ризничий приходил в смущение. Повелениям же его и распоряжениям своих братьев Алоизий повиновался с такой готовностью и исполнял их столь совершенно, словно приказывал ему Сам Христос, Господь наш.

С не меньшим почтением Алоизий относился и к тому из собратьев, на кого были возложены скромные обязанности старшего над прочими новициями: он чтил его так, словно перед ним являлся сам Отец Генерал. Всякий раз, когда старшина проходил мимо, Алоизий поспешно вставал, снимал биретту и всем своим видом выказывал готовность к подчинению. Однажды, смущенный столь глубоким почтением, старший новиций поведал о том настоятелю; последний же распорядился, дабы Алоизий впредь был в том умереннее, и юноша беспрекословно повиновался.

Впрочем, не должно дивиться столь глубокому почтению Алоизия к старшим по послушанию. Ибо он никогда не взирал на того, кому повиновался, лишь как на человека, но прозревал в нем олицетворение Самого Бога. Голос повелевающего он принимал не как слово человеческое, но как глас Христа, Господа нашего.

Алоизий говаривал, что поступает так не столько ради стяжания больших заслуг, каковые можно обрести подобным послушанием, сколько по причине той особой сладости, которую ощущал при мысли, что с ним говорит Сам Христос и что ему дарован случай послужить Его Божественному Величеству.

Более того, он признавался, что с несравненно большей радостью и удовольствием повинует младшим и низшим начальствующим, нежели старшим и наивысшим. И делал он это, по его собственным словам, не только из смирения, но и из некоей «гордости», как он сам её называл.

Рассуждая по-человечески, — пояснял святой, — трудно понудить одного человека подчиниться другому, в особенности если последний уступает ему в познаниях, знатности рода или иных талантах и дарованиях. Но подчиниться Богу (или человеку, олицетворяющему Бога, что по сути одно и то же) — в этом заключается высшая слава и достоинство. И величие сего божественного служения тем очевиднее, чем меньше в повелевавшем земного блеска и чем скромнее его природные дарования.

Когда утро клонилось к полудню и мессы заканчивались, новиции того дома отправлялись читать братии в столовой — кто к первой трапезе, кто ко второй; прочие же поочередно прислуживали на кухне — это послушание в свой черед исполнял и Алоизий, причем с такой радостью, словно оно вполне отвечало его натуре. Назначили его также чтецом за трапезой; читал он неспешно и вдумчиво.

Однажды, когда он читал, из-за поднявшегося подле трапезной шума братия не могли слышать его слов. Тогда тот старший из новициев, о коем упоминалось выше, решив испытать Алоизия, принялся сурово ему выговаривать. Он винил юношу в том, что по его оплошности отцы и братья лишились в тот день назидания, и всячески преувеличивал этот «духовный урон», как он сам его называл, желая увидеть, что на то ответит Алоизий.

Добрый же юноша без всяких оправданий смиренно испросил прощения и пообещал впредь быть старательнее; и тут же, желая восполнить тот самый «духовный урон», о коем сокрушался его собрат, принялся перечитывать всё заново.

Видя, что Алоизий чрезмерно сосредоточен на молитве и умственных упражнениях, о. Джироламо Пьятти, желая несколько отвлечь его, распорядился, чтобы тот утром и вечером после трапезы не только проводил час на общей рекреации, как то обычно заведено, но оставался еще на полчаса с теми, кто вкушал во вторую очередь (даже если сам Алоизий ел в первую смену); и юноша повиновался.

Министр дома¹, не ведая о сем распоряжении и застав Алоизия на второй рекреации, наложил на него публичную епитимью в трапезной, заставив признать свою вину в нарушении правила, согласно которому всем без исключения предписывается хранить молчание вне установленного часа общего отдыха. Алоизий принял наложенное наказание, не оправдываясь и не открывая приказа, полученного от своего непосредственного начальника; а после вновь отправился на вторую рекреацию, дабы в точности исполнить полученное указание.

Министр, вновь заметив его там, немало удивился и наложил на него еще одну подобную епитимью, которую Алоизий принял и исполнил, не проронив ни слова. Позже о. Пьятти, призвав его к себе, сказал юноше, что тот подал соблазн собратьям, ибо, будучи новичком, дважды подряд понес наказание за один и тот же проступок; отец спросил, по какой причине Алоизий не сообщил министру о полученном дозволении.

Юноша отвечал, что ему и в голову не пришло, будто его молчание может стать поводом к соблазну; ведь он наипаче опасался тайного лукавства самолюбия, ищущего под видом оправдания возможности уклониться от епитимьи. Посему он решил молчать и понести епитимью и во второй раз, положив в сердце своем открыть министру правду лишь в том случае, если тот обратится к нему в третий раз — дабы не множить соблазна дальнейшим молчанием.

Чрезвычайно назидательно для всех было видеть, с каким терпением и готовностью Алоизий принимал налагаемые на него взыскания и с какой радостью их исполнял, даже когда не было за ним ни вины, ни небрежности (каковые либо вовсе были ему несвойственны, либо случались крайне редко). Напротив, весьма часто случалось так, что когда чужие ошибки по нечаянности приписывали ему, он не оправдывался и нес наказание так, словно проступок был его собственным. Об этом становилось известно лишь позже, когда истинные виновники, видя, как смиренно принимал он епитимью, сами, соревнуясь с ним в смирении, шли во всем признаться.

Днем он обычно сопровождал кого-нибудь из отцов — то в тюрьмы, то в больницы, следуя обычаю отцов-исповедников сего дома посещать эти места по нескольку раз в неделю. Пока священники исповедовали недужных или узников, Алоизий наставлял прочих в истинах веры и подготавливал их к покаянию. Когда же он оставался дома, то занимался подметанием полов или иными подобными низкими послушаниями.

Как-то раз он вместе с другими новичками трудился на сушильне, складывая просохшее после стирки белье. Прошло немало времени, когда он вспомнил, что в тот день еще не успел почитать творений св. Бернарда, как то было у него заведено. Хотя ему хотелось уйти и предаться этому благочестивому занятию (что он вполне мог бы сделать, подобно другим новичкам, потрудившимся уже вдоволь), он всё же не пожелал оставить работу. На этот помысл он ответил себе так: «Если бы ты ныне читал св. Бернарда, чему иному он поучал бы тебя, как не послушанию? Посему считай, что ты уже прочел его: прилежно продолжай дело послушания».

Он столь ревностно соблюдал правила, что даже ради самых важных особ не позволял себе преступить ни единого из них, даже самого малого. Однажды в ризницу пришел сиятельный кардинал делла Ровере, родственник Алоизия, с целью навестить его. Юноша же извинился перед прелатом, сказав, что не имеет дозволений вести беседы в этот час. Его высокопреосвященство прелат получил глубокое назидание от такого ответа и не пытался более заговаривать с юношей, пока сам не испросил на то разрешения у Отца Генерала.

Словом, в каждом занятии он являл такое совершенство и подавал столь благой пример, что все питали к нему особенную любовь и превозносили юношу как святого. После двух месяцев пребывания в Доме профессов он был отозван обратно в новициат Сант-Андреа.

ГЛАВА VII. О высоком совершенстве Алоизия в остальное время его новициата

По возвращении в новициат Сант-Андреа, Алоизий, почерпнув глубокое назидание из примеров добродетели, виденных им в Доме профессов, прежде всего представил наставнику новициев полный отчет о своей совести¹ за время отсутствия. Затем он с еще большим, нежели прежде, рвением и тщанием вернулся к обычным занятиям новициата. Его верность уставу и стремление к совершенству были таковы, что не только окружающие не находили в нем ни малейшего изъяна, но и он сам (привыкший так глубоко испытывать свою совесть, что подвергал буквально анатомическому рассечению не только каждое свое действие, но и помыслы) не видел в себе ничего, достойного укоризны.

Об этом стало известно следующим образом. Однажды он пришел к наставнику новициев, дабы поведать о сомнении, которое немало его тревожило: испытывая себя со всем возможным тщанием, он не находил в себе ничего, что достигало бы меры даже простительного греха. Сие причиняло ему великое беспокойство, ибо он опасался, не происходит ли это от неведения самого себя; он боялся, не впал ли он в то духовное ослепление, о коем иногда слышал или читал и которое подвергает душу великой опасности. Из этого можно заключить, сколь велика была чистота его души.

И не стоит дивиться тому, что он сохранял совесть столь чистой и незапятнанной, ибо Господь наделил его многими благодатными дарами, которые весьма тому споспешествовали. Прежде всего, благодаря долгому труду по умерщвлению душевных страстей (начатому еще в детстве) и приобретенному в том навыку, он, казалось, достиг такого бесстрастия, что не ощущал даже первых движений страсти по отношению к какому бы то ни было земному предмету. Посему многие, кто близко знал его в Ордене, под присягой свидетельствуют: они не только никогда не замечали за ним ничего, что граничило бы с простительным грехом, но даже не усматривали в его поведении ни малейшего признака гнева, нетерпения или иного движения страстей.

Таковое бесстрастие тем более достойно удивления, что проистекало оно не от какой-то природной холодности или врожденной тупости (ибо, как уже говорилось, Алоизий был юн, обладал сангвиническим темпераментом, был весьма проницателен и остр умом, причем рассудительностью превосходил ровесников), но было плодом особенной благодати Божией и святых навыков, обретенных им через непрестанное упражнение в умерщвлении чувств.

К сему присовокуплялось и то, что в делах своих он никогда не позволял вести себя пристрастием (*affetto*), которое нередко увлекает людей за пределы разума, но руководствовался лишь светом разума и ведением. Он говаривал, что человек часто впадает в заблуждение, когда им правит чувство. В беседах на прогулках во время отдыха он никогда не стремился во что бы то ни стало одержать верх в споре, но просто высказывал, что было у него на душе. Если же ему противоречили, он не вступал в препирательства, но лишь в защиту истины давал краткий ответ, исполненный кротости и душевного мира; а если другие упорствовали, умолкал, точно дело его вовсе не касалось.

С великим тщанием он отгонял от себя всякое желание, не только праздное, но и (что еще удивительнее) благое и святое, если замечал, что оно может как-то возмутить мир и покой его сердца или доставить чрезмерную заботу. Благодаря сему он наслаждался глубоким душевным миром, который от непрестанного упражнения стал для него как бы природным.

Более же всего помогало ему то, что он не только хранил постоянное памятование о присутствии Божиим во всех своих делах (отчего стремился совершать их с предельным совершенством), но и пребывал в непрестанном союзе с Богом через молитву. В молитву он вкладывал столько радения, словно в ней одной заключался источник всякого совершенства. Он говаривал, что человеку, недостаточно преданному молитве и внутреннему сосредоточению, почти невозможно, как о том свидетельствует сам опыт, одержать окончательную победу над самим собой и достичь высокой степени благочестия.

Всякое нерадение в подвиге, смущение духа, беспокойство и недовольство, что порой встречается среди иноков, проистекают, как он считал, оттого, что они нерадиво упражняются в размышлении и молитве. Последнюю он называл кратким и прямым путем к совершенству. Алоизий мечтал убедить в этом каждого, ибо верил: кто хоть однажды вкусит сладость молитвы, тот уже не сможет её оставить. Он ужасался и сокрушался о тех, кто, лишившись по воле обстоятельств времени на положенное молитвенное правило, мало-помалу утрачивал сам навык к размышлению, так что по укоренившейся нерадивости пренебрегал им даже тогда, когда имел к тому полную возможность.

¹ *Отчет о совести (лат. ratio conscientiae) — специфическая иезуитская практика, отличная от таинства исповеди. Она заключается в полном и доверительном открытии настоятелю состояния своей души, склонностей и духовных движений.*

ГЛАВА VIII. О выдающемся даре молитвы, коим обладал святой Алоизий

Алоизий был столь предан молитвенному деланию, что часы, отведенные для размышления и созерцания, были для него временем наивысшей радости. Собственный опыт открыл ему глубокие истины о молитве; и когда о. Роберт Беллармин (ныне кардинал) давал студентам Римской коллегии наставления, как должно проходить «Духовные упражнения», то, предлагая какой-либо мудрый совет о медитации, обычно добавлял: «Этому я научился у нашего Алоизия».

Юноша готовился к молитве с величайшим тщанием. Каждый вечер перед сном он уделял семь или восемь минут (а порой и более) тому, чтобы наметить и распределить по пунктам содержание размышления, коим предстояло заняться следующим утром. Поутру же он старался быть полностью готовым задолго до того, как прозвучит удар колокола к началу молитвы. Это время он проводил в глубоком внутреннем безмолвии, стремясь обрести душевный покой, избавляясь от всякого попечения или порыва желаний.

Он говаривал, что если душу в час размышления и созерцания волнуют беспокойство, пристрастие или иные желания, она не может хранить должное внимание к предмету молитвы. Такая душа не способна воспринять образ Божий, в который она чрез размышление стремится преобразиться (ср. 2 Кор 3:18).

Помню, как в этой связи я слышал от него следующее сравнение: «Подобно тому как вода, возмущаемая ветром, либо вовсе не отражает образ стоящего над нею человека, будучи мутной, либо, если и остается прозрачной, являет его образ искаженным, раздробленным и лишенным единства, так и душа в созерцании, если её терзают противные ветры страстей или волнуют пристрастия и желания, не способна воспринять в себя образ Божий. Она не может ни отразить Его, ни преобразиться в подобие того Божественного Величия, которое созерцает».

Едва звучал удар колокола к молитве, он с глубочайшим благоговением опускался на колени перед своим скромным келейным алтариком. Он прилагал все усилия, чтобы хранить ум сосредоточенным на размышлении; доходило до того, что даже если ему нужно было сплюнуть, он удерживался от этого, боясь рассеяться. Алоизий столь глубоко проникал помыслом в предмет размышления, что из-за величайшего напряжения духа все жизненные силы устремлялись к горнему, а тело становилось столь слабым и немощным, что по окончании молитвы он не мог подняться на ноги.

Часто случалось и так, что, восстав от молитвы, он некоторое время пребывал в некоем восхищении, не осознавая, где находится, и не узнавая места, в котором пребывал. Особенно часто это случалось с ним, когда он созерцал божественные свойства — благодать, провидение, любовь Бога к людям и в особенности Его бесконечность; в такие мгновения он совершенно отрешался от чувств.

Молитва его была отмечена столь великим даром слез, проливаемых обычно в таком изобилии, что настоятелям пришлось убеждать и увещевать его, дабы он умерил плач. Они опасались, как бы это не повредило его мозгу и зрению, однако никакие подходы не помогали.

Удивительнее же всего то, что в молитвах своих он обычно не испытывал никакой рассеянности, о чем свидетельствуют его духовники и в особенности кардинал Беллармин. Таковая неизменная сосредоточенность имела причину не только в обильной благодати Божией, но и в том, что за долгие годы молитвенного делания он совершенно укротил воображение. Никакой иной помысл не посещал его, кроме того, которого он желал; и на нем он умел так закрепить внимание, что более не слышал и не замечал ничего вокруг.

За всё время иноческой жизни он ни разу не заметил, что во время молитвы к нему заглядывают, хотя в новициате каждое утро совершается обход келий, дабы проверить, все ли заняты молитвой в положенный час. Из этого можно судить, насколько он был в это время отрешен от чувств и погружен в созерцание.

Согласно уставу, все члены Общества Иисусова обязаны в начале новициата, а затем каждые полгода представлять настоятелю полный отчет о совести. Они рассказывают ему не только своих прегрешениях, но и дарах, милостях и добродетелях, полученных от Господа нашего. Это делается для того, чтобы настоятель, будучи верно осведомлен, мог с отеческим попечением умерять крайности, оберегать подчиненных от искушений и заблуждений, кои случаются в духовной жизни, и направлять их к вящему совершенству.

Именно так стали известны многие добродетели святого Алоизия. Храня верность уставу и ища духовного руководства, он с великой прямоотой и искренностью открывал настоятелям и духовникам всё, что Бог совершал в его душе. Это нужно принять во внимание, дабы никто не дивился тому, что святой обнаруживал свои добродетели, ведь он делал это по послушанию, а в обычное время никогда не говорил о самом себе.

Однажды, давая отчет о совести, он на вопрос настоятеля, случаются ли у него в молитве рассеяния, ответил со всею искренностью: если собрать воедино все отвращения, что случились у него за полгода во время всех размышлений, молитв и испытаний совести, то все они вместе не заняли бы и того времени, которое потребно для прочтения одной Ave Maria.

В молитве устной он встречал несколько большее затруднение — не потому, что ум его в это время рассеивался, но оттого, что не мог с той же быстротой и легкостью проникнуть в сокровенный смысл псалмов или иных читаемых слов. О своем состоянии он говаривал, что оно подобно положению человека, стоящего у щели при запертых дверях: он и войти внутрь не может, и отойти прочь не в силах.

Впрочем, и при устной молитве душа его преисполнялась глубокого умиления и духовной сладости, в особенности при чтении псалмов, когда он всецело сообразовал свой дух с теми священными порывами, коими они полны. Порой эти порывы были столь сильны, что ему лишь с великим трудом и усилием удавалось выговаривать слова. Поэтому, хотя Алоизий был еще только новичком, он по собственному усердию читал «Большой Оффиций», как подобает священникам, и тратил не менее часа на одно лишь чтение Утрени.

Что касается предметов его размышлений, то Алоизий питал глубокое благоговение перед святейшими Страстями Господа нашего и в созерцании их преисполнялся особенных благодатных чувствований. Каждый день в полдень он возобновлял это памятование, прочитывая краткий антифон и поставляя пред внутренним взором образ распятого Христа. Творил он это с таким глубоким чувством и духовной собранностью, что, по его собственным словам, перед ним всякий раз как бы воскресало священное время Великой пятницы. О тех чувствах и отраде, что он находил в размышлении о таинстве святейшей Евхаристии, уже было сказано выше.

К святым ангелам, и в особенности к своему ангелу-хранителю, он питал любовь исключительную. С великой сладостью размышлял он об этих разумных творениях, и Бог ниспосылал ему множество прекрасных мыслей о них. Об этом можно судить по его пространному и дивному «Размышлению об ангелах», помещенному во второй части «Медитаций» отца Винченцо Бруно; этот труд с великой похвалой цитирует доктор Андреа Витторелли в своем ученом труде «О защите ангельской» (*De Custodia Angelorum*). Данное размышление — как по слогу, так и по существу — всецело принадлежит Алоизию. О. Винченцо сам рассказывал, что побудил юношу написать его, зная о его особенной любви к святым ангелам и желая, чтобы тот поверил бумаге сокровенные помыслы.

Я же храню у себя записку, начертанную рукою самого св. Алоизия и недавно найденную среди прочих бумаг. В ней он, сжато излагая свои мысли о святых ангелах, пишет следующее:

ОБЩЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ АЛОИЗИЯ О МОЛИТВЕ КО СВЯТЫМ АНГЕЛАМ

«Представь себе, что ты находишься среди девяти ангельских хоров, возносящих молитву Богу и поющих гимн: „Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus et immortalis, miserere nobis (Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас)“. Повторив это девять раз, ты совершишь молитву вместе с ними. Своему ангелу-хранителю поручай себя особо трижды в день: утром — молитвой „Angele Dei¹ (Ангеле Божий)“, той же молитвою вечером, а также днем, когда идешь в церковь навестить алтари. Уповай, что

ангел поведет тебя, подобно тому как слепец, не видя опасностей пути, всецело вверяет себя попечению того, кто ведет его, направляя посохом».

Таковы собственные слова св. Алоизия.

В итоге можно с полным правом сказать, что вся его иноческая жизнь была непрестанной молитвой. Благодаря многолетнему навыку молиться и отрешаться от чувственных вещей, он обрел такое устройство, что в любом месте и в любом деле ум его был более направлен к вещам внутренним, нежели к внешним. Он достиг такого состояния, что почти не пользовался чувствами: очами, чтобы видеть, и ушами, чтобы слышать, – столь он был внимателен к внутреннему деланию и лишь в этом находил свой покой и отраду.

Если же случалось так, что по какой-либо надобности (пусть даже полезной) он отвлекался от этого делания, то, хотя и исполнял всё необходимое, ощущал некое внутреннее беспокойство, подобно тому как если бы сустав у него вышел из своего места. Потому ничто не давалось ему с такой легкостью, как пребывание в совершенном единении ума с Господом нашим даже посреди внешних занятий. В гуще дел он без труда сохранял внутреннюю собранность и внимание; напротив, отвлечься ему было крайне трудно.

Однажды он признался: сколько трудностей, по словам некоторых, они испытывают, стараясь собрать ум в Боге, столько же трудностей испытывал он сам, пытаясь отвлечься от Бога. Ибо всё то время, когда он старался не думать о Боге, он совершал великое насилие над собой и был принужден оказывать постоянное сопротивление самому себе. От этого усилия тело его страдало гораздо больше, нежели от непрестанного сосредоточения на Боге.

В течение дня, посреди дел Бог посещал его величайшими утешениями, и были они не мимолетными, но длились по часу и более, причем наполняли его душу так, что, изливаясь на тело, воспаляли его небесным жаром; и румянец на лице являл собою отблеск того огня, что пылал внутри. В иные же мгновения сердце святого так воспалялось этой божественной искрой, что, казалось, готово было вырваться из груди от учащенного и сильного биения.

Душа его была столь преисполнена этой внутренней сладостью, что он почти вовсе перестал печься о теле, отчего день ото дня всё более изнемогал и истощался; постоянные же головные боли не только не утихали, но лишь усиливались. Настоятели, видя, что при столь необычайном умственном напряжении он долго не проживет, тем паче с его хрупким сложением, расстроенным прежними суровыми подвигами, запретили ему посты, воздержания, бичевания и иные телесные умерщвления. Они велели ему увеличить время сна и сократить время молитвы: сперва урезали молитвенное правило на полчаса, а затем и вовсе его отменили.

Ему запретили даже краткие молитвенные воздыхания (*preghiere giaculatorie*), которые прежде он творил беспрестанно, дозволив прибегать к ним лишь в редких случаях. Наставники прямо объявили ему: чем меньше он будет молиться, тем совершеннее исполнит правило послушания.

Сверх того его стали занимать различным ручным трудом, дабы по возможности отвлечь от умственного делания и не оставлять времени на привычные дела благочестия. Настоятели часто напоминали ему, что ради славы Божией он обязан соблюдать умеренность, дабы сберечь остатки здоровья. Убедить его в этом не составляло труда,

ибо Алоизий был в высшей степени послушен и хранил совершенное безразличие (*indifferenza*) к собственной воле, что и явил в полной мере в этих обстоятельствах.

Один из отцов как-то подал ему надежду, что исходатайствует у Отца Генерала дозволение на один час мысленной молитвы в день (которую, как уже говорилось, запретил наставник новициев). Алоизий почувствовал, что слишком сильно желает этого дозволения, и испугался, что если в просьбе будет отказано, это возмутит его душевный покой. Рассудив, что подобное пристрастие противно святому безразличию, коим обязан обладать истинный послушник, и идет вразрез с волей начальствующих, он со всяким тщанием принялся искоренять в себе это желание, дабы вновь прийти к своему обычному состоянию совершенной преданности воле Божией.

В том и заключалось его великое затруднение, что он не знал, как и чем еще угодить воле настоятелей. Ибо как ни старался он отвлечь помыслы от божественного, ум его безотчетно вновь и вновь погружался в созерцание. Подобно тому как камень по природе своей стремится к центру земли, так и душа его естественным образом сосредотачивалась на Боге; и если её насильно от Него отторгали, она неизбежно возвращалась к Нему как к своему центру притяжения.

Посему однажды, сокрушаясь, что не может в полной мере удовлетворить требования старших, он доверительно признался одному отцу, с которым был близок: «Поистине, я в растерянности! Отец ректор запрещает мне молиться, дабы напряжение ума не повредило мозгу, но я-то совершаю над собой гораздо большее насилие, пытаюсь отвлечься от Бога, нежели когда сосредотачиваюсь на Нем. Для меня, по долгому навыку, молитва стала уже чем-то природным, и в ней я обретаю покой и отдохновение, а не тягость. Впрочем, я буду и впредь стараться исполнять всё, что мне велят, насколько хватит сил».

Лишившись возможности подолгу пребывать в молитве, он в возмещение часто заходил в храм лишь для того, чтобы поклониться Пресвятым Тайнам. Но едва преклонял колена, как тотчас вскакивал и поспешно уходил, боясь, как бы какой-нибудь благой помысл не восхитил его душу и не отрешил её от чувств. Однако такая предосторожность мало помогала ему: чем более он старался «бежать» от Бога ради послушания, тем настойчивее Бог, казалось, следовал за ним, сообщаясь с ним и посещая его в течение дня небесным светом и божественными утешениями.

Алоизий же, ощущая их и не желая принимать, дабы не преступить воли начальствующих, с глубоким смирением взывал к Богу: «*Recede a me, Domine, recede a me*», то есть «Отойди от меня, Господи, отойди от меня» (ср. Лк 5:8), и всячески старался рассеяться. Великим трудом для него было и понуждать свои внешние чувства действовать на обычный лад, ибо когда дух его был восхищен внутрь, он, казалось, не мог ни видеть, ни слышать ничего земного.

В столь совершенном благочестии протекали дни его новициата в Сант-Андреа до конца октября 1586 года. Он вызывал великое изумление у настоятелей, направлявших его душу, и приносил огромную пользу собратьям-новициям, которые состязались друг с другом за право общаться с ним, ища назидания в его словах и примере.

¹ *Angele Dei* («Ангеле Божий») — традиционная католическая молитва к Ангелу-хранителю, известная с XI–XII веков.

*Angele Dei, qui custos es mei,
me, tibi commissum pietate superna,
illumina, custodi, rege et gubernata.
Amen.*

*Ангеле Божий, хранителю мой,
меня, вверенного тебе вышней милостью,
просвещай, охраняй, веди и направляй.
Аминь.*

ГЛАВА IX. О великом благочестии наставника новициев, коему Алоизий стремился подражать

В то время, когда святой Алоизий проходил в Риме свой искуc в обители Сант-Андреа на Монте-Кавалло, ректором сего дома и наставником новициев был о. Джованни Баттиста Пескаторе, уроженец Новары — муж дивного благочестия и совершенства. О его редких добродетелях и благодати достоверные свидетельства можно получить от многих его учеников и духовных чад, которые почитают за великую честь иметь такого мужа своим учителем и руководителем в духовной жизни.

Этот благословенный отец был весьма суров в изнурении своего тела: он удручал его прилежным воздержанием, частыми постами, жесткими власяницами, бичеваниями и долгими бдениями. Все сие он совершал в глубочайшей тайне; однако же не мог он утаиться от взоров своих многочисленных чад, которые пристально наблюдали за ним, стремясь примечать сии подвиги и подражать им.

В том, как он сидел, стоял или ходил, в его манере одеваться, в самой его осанке и во всем внешнем облике сквозила такая собранность, что он казался живым воплощением скромности. Лицо его неизменно сияло радостной безмятежностью, а на устах играла скромная и приятная улыбка, так что один взгляд на него приносил утешение всякому взиравшему.

Какие бы важные события ни случались, будь то радостные или печальные, никто никогда не видел его изменившимся в лице: он не терял душевной ясности, не впадал в уныние и не предавался чрезмерному веселью. Он всегда пребывал в одном и том же состоянии духа, являя совершенное господство над страстями, глубокий внутренний мир и непоколебимое спокойствие. За ним не доводилось приметить ни малейшего признака нетерпения или гнева.

Он пребывал в совершенном самоотвержении и, вменяя себя ни во что, во всех своих поступках являл глубокое смирение. Трудно в полной мере выразить, сколь ревностно он предавался молитве днем и ночью. О том же, какого высокого дара сподобился он в ней, можно судить по следующему: однажды ночью, когда прочие братья уже отошли ко сну, его обнаружили в зале новициата (там, где ныне устроена лечебница): он молился в исступлении духа, вися в воздухе на высоте нескольких пядей от земли. Об этом свидетельствовал мне отец, сменивший его в этой должности, и о том же напечатано в *Анналах Общества* за 1591 год в разделе, повествующем о Неаполитанской коллегии, где описываются его добродетели.

Он был строгим хранителем иноческих уставов, начертанных св. Василием Великим, и страстным любителем «Собеседований» аввы Кассиана, кои знал почти наизусть. Всё, что он читал о поучениях и жизни древних святых отцов, стремился исполнять с

неукоснительной точностью. В речах своих он был в высшей степени осмотрителен и воздержан; никогда не исходило из уст его слова, которое могло бы оскорбить или не служило бы к назиданию (ср. Еф 4:29).

В общении же он был исполнен необычайной кротости и в должное время умел приправить беседу остроумным и изящным словом, храня, однако, иноческую скромность, что снискало ему всеобщую любовь. К беднякам, просящим милостыню, а особенно к тем, кто стыдился своей нищеты, он испытывал такое сострадание, что, как рассказывают, снимал с себя одежды, дабы прикрыть их.

В управлении подчиненными он умел смягчать строгость чрезвычайной приветливостью, соединяя степенность с обходительностью и смирением; посему внушал глубокое почтение, не будучи никому в тягость. Он любил всех великой братской любовью, а о новичиях пекся столь нежно и внимательно, словно был для каждого одновременно и отцом, и матерью, и нянькой. Их несовершенства он сносил с великим терпением и кротостью, покада постепенно не запечатлевал в их душах желанный ему образ иноческого жития.

Какое бы несовершенство или промах они ни проявляли, это никогда не вызывало в нем ни горечи, ни душевного смущения; он не лишал виновного своего доброго расположения и не хранил о нем дурного мнения. Напротив, с сострадательной любовью он кротко и ласково увещевал оступившегося, порой сопровождая наставление легкой улыбкой, дабы умалить стыд обличаемого и дать понять, что не вменяет проступок в большую вину. Он ободрял и утешал братьев, не отпуская их от себя иначе как в добром и радостном расположении духа.

С милосердным снисхождением он сообразовался с различными натурами своих подопечных, так что мог бы по праву сказать вместе с Апостолом: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых для Христа» (ср. 1 Кор 9:22). Сообразно разнообразию характеров и склонностей, он направлял каждого к совершенству особым путем, зная, что невозможно вести всех одной и той же дорогой.

Он не требовал, чтобы новичии направляли всё свое усердие лишь в чрезмерную внешнюю собранность, которую они могли бы легко оставить, едва покинув стены новичиата. Он приучал их с самого начала неукоснительно блюсти ту скромность, которую иноку надлежит сохранять во всё время своего служения; главное же внимание он понуждал их обращать на укрепление основ твердых добродетелей и истинного самоотвержения.

О. Пескаторе требовал от новичиев чтить тех, кто более преуспел в иноческом чине, и оказывать им то почтение, коего те по праву заслуживают. Он часто говаривал воспитанникам: «Вы должны быть убеждены, что в делах добродетели и духа между новичием и тем, кто уже обучается в коллегиях, такая же разница, как между ребенком, едва приступившим к азбуке, и мужем, искушенным в науках».

Мне довелось общаться с сотнями из тех, кто был его новичием или подчиненным; и все они, как один, свидетельствовали о его благочестии и превозносили его способ руководства. Ибо в обращении с каждым он неизменно являл любовь, приветливость и смирение. И что наиболее важно: в управлении он был столь ровен со всеми, что каждый втайне считал себя единственным его любимцем. Ни у кого не могло возникнуть и тени подозрения, будто наставник отдает предпочтение другому или любит кого-то более,

нежели его самого. Потому-то и был он нежно любим всеми своими чадами, и каждый во всякой нужде прибегал к нему с полным доверием.

О. Пескаторе наставлял новициев в иноческом житии не столько словами и увещеваниями, сколько примером собственной жизни. Речи его были тем убедительнее, что он делом исполнял всё, чему учил других; и не нашлось бы никого, кто мог бы упрекнуть его хотя бы в малейшей оплошности.

Об этом отце рассказывают и пишут истории поистине чудесные. Говорят, например, что от одного его присутствия угасало пламя пожара, который многие люди не могли потушить ни водою, ни долгими усилиями. Ему был ниспослан дар прозревать поступки подчиненных, совершенные в его отсутствие, и проникать в сокровенные помыслы их душ. Достопочтенные отцы и по сей день приводят тому примеры многих событий, случившихся в Риме и Неаполе.

Известно также, что в 1582 году новициат терпел крайнюю нужду в средствах на пропитание. Когда о. Пескаторе, затворившись в келье, молился о разрешении сей нужды, в двери обители постучался ангел в образе юноши. Вручив брату-привратнику значительную сумму денег для покрытия текущих расходов, он тотчас исчез.

Из-за всего этого его почитали святым, но сам он, умирая в должности ректора Неаполитанской коллегии, после принятия Последнего напутствия старался рассеять это мнение, укрепившееся в умах окружающих, которые внимали каждому его движению, усматривая в них поступки святого. Но чем более он старался скрыть свою праведность, тем ярче сияли его скромность и смирение — последние примеры, оставленные им перед тем, как душа его отлетела от земли к небесам.

К сему благословенному отцу св. Алоизий питал великое почтение и огромную любовь — не только потому, что смотрел на наставника как начальника, олицетворяющего Бога, но и оттого, что видел в нем совершенного инока, исполненного всяческих добродетелей. Алоизий избрал его для себя живым образцом; он примечал всякое его слово и каждый поступок, открывая отцу все движения души, ища наставления и руководства. Отец же находил великую отраду в общении с чистой душой Алоизия, видя её необычайную способность к восприятию духовных поучений и обилие даров Божиих. Если бы перед кончиною о. Пескаторе успел оставить нам свои воспоминания, мы, без сомнения, знали бы о св. Алоизии гораздо больше, нежели нам известно ныне.

ГЛАВА X. О том, как святой Алоизий отправился в Неаполь, и о делах его там

Случилось так, что осенью 1586 года сей отец [Пескаторе] занемог и начал харкать кровью; посему Отец Генерал решил отправить его в Неаполь, надеясь, что перемена воздуха послужит к его исцелению. После того как решение было принято, он однажды спросил Алоизия — как то обычно бывает в беседе, — охотно ли тот отправился бы с ним в Неаполь. Алоизий же, не раздумывая, ответил: «Да».

Когда о. Пескаторе пришло время покидать Рим, Отец Генерал распорядился, чтобы тот взял с собой троих самых немощных новициев, дабы испытать, не пойдет ли им на пользу перемена климата. Одним из них был наш Алоизий, для чьей жестокой головной боли искали облегчения.

Узнав о предстоящем отъезде, Алоизий впал в великое огорчение: он усомнился, не приложил ли он к сему решению чего-то от своей воли, раз столь решительно ответил

отцу, что поедет охотно. Ведь ему надлежало бы ответить, что он всецело вверяет себя воле настоятелей, не выказывая ни склонности, ни отвращения. И хотя не его слова побудили Отца Генерала к такому выбору (ибо тот руководствовался лишь пользой для здоровья юноши), Алоизий всё же положил впредь не только самому хранить во всем совершенное безразличие, но и советовать другим никогда не говорить «да» или «нет», но во всем полагаться на святое послушание.

Многим он после поверял это смущение совести, признаваясь, что всякое проявление собственной воли приносило ему величайшую душевную скорбь. Впрочем, раз уж ехать было необходимо, Алоизий был рад такому спутнику. Он говорил одному из братьев, что очень ценит эту поездку, так как на примере о. Пескаторе надеялся научиться тому, как иноку Общества подобает вести себя в дороге.

Они покинули Рим 27 октября того же года. Достигнув места, откуда город начал скрываться из виду, Алоизий обернулся к нему и с великим чувством и благоговением прочел антифон: «*Petrus Apostolus et Paulus Doctor gentium*» («Петр Апостол и Павел, Учитель народов»)¹ с молитвой святым апостолам Петру и Павлу «*Deus cuius dextera*» («Боже, Чья десница»)².

Отец Пескаторе ехал в паланкине для немощных, как то предписали врачи из-за его кровохарканья. Поскольку один из троих новичиев должен был сопровождать его внутри, а двое других следовать верхом, Алоизий всеми силами старался уступить место в паланкине своим собратьям. Он готов был лишиться себя непрестанной духовной беседы с учителем, которая была ему бесконечно дорога, лишь ради желания доставить ближним это телесное удобство. Однако, поскольку он был слабее и немощнее всех, настояли на том, чтобы именно он, а не кто-то иной, вошел в паланкин.

Но и при этом удобстве он сумел найти для себя новое неудобство. Взяв свою дзимарру (верхнюю одежду), он свернул её тугим узлом, придав ей форму шара, и сел сверху. Так он ехал в паланкине с несравненно большим стеснением, нежели если бы сидел в седле. В пути он неизменно вычитывал Оффиций вместе с отцом и вел с ним долгие духовные беседы. Он предлагал наставнику различные вопросы, стремясь обогатиться духовными поучениями и правилами, внимая каждому слову отца. Отец же, видя, что сеет на доброй почве (ср. Мф 13:8), охотно открывался ему и поверял секреты внутренней жизни, делясь опытом, обретенным за многие годы ректорства и учительства в новициате.

На постоянных дворах Алоизий ловко устраивал так, чтобы собратьям доставались лучшие удобства, сам же неизменно довольствовался худшим, являя к другим великое милосердие и доброту. В конце пути он признался товарищам, что за эти несколько дней непрестанного общения и долгих бесед с отцом, а также благодаря наблюдению за его поступками и манерой обхождения с мирянами, он научился большему, чем за многие месяцы пребывания в новициате.

Они прибыли в Неаполь первого ноября. В то время как раз возобновлялись учебные занятия, и настоятели рассудили, что Алоизию после краткого отдыха надлежит приступить к слушанию лекций по метафизике (ибо остальную часть курса философии он уже прошел в миру, о чем упоминалось выше); и он со всем прилежанием принял за то, что ему было предписано. Ректором той коллегии был тогда отец, который сам был великим ревнителем умерщвления плоти и покаяния; видя в юноше великую склонность к тому же, он радовался и давал ему больше воли в подобных упражнениях, нежели позволяли в Риме. Алоизий же находил в таком снисхождении великое утешение, полагая, что ему выпал счастливый жребий.

В Неаполе в нем примечали необычайную скромность, благоразумие, смирение, послушание и святость; всякий, кому доводилось говорить о нем, выражал глубокое почтение к его добродетелям. Его учитель метафизики в свидетельских показаниях, данных недавно в архиепископии Неаполя, среди прочего сообщил следующее:

«Я знал Алоизия как человека глубочайшего смирения; он вменял себя ни во что, во всем уступал другим и искал любого случая к унижению. Он с величайшим усердием предавался умерщвлению собственной воли и плоти. В молитве он являл глубокое благоговение и непрестанно пребывал в общении с Господом нашим; ревностно соблюдал устав и обладал удивительно чистой совестью. Наряду с праведностью жизни он отличался острым и проницательным умом, который сочетался в нем с великой скромностью и кротостью. Я могу это утверждать, потому что близко знал его и наблюдал многие его поступки во время его пребывания в Неаполе, когда он был моим учеником. За его святые дела я почитал его мужем великой добродетели, и таково же было общее мнение о нем в Неаполитанской коллегии. В особенности же о Джованни Баттиста Пескаторе, муж великой святости, ныне покойный, бывший его наставником и исповедником, не раз говорил мне об Алоизии как о человеке высочайшей меры совершенства».

Таковы были слова его учителя. Иные же братья, жившие тогда в той коллегии, в своих письменных отчетах свидетельствуют, что в Неаполе Алоизий всячески старался оставаться незаметным. Он часто искал общения с братьями-помощниками и, насколько мог, скрывал свою знатность. Поэтому, когда ему принесли весть, что патриарх Гонзага возведен в достоинство кардинала, он не выказал ни малейшего волнения, словно это его вовсе не касалось. А между тем известно, что, помимо уз родства, он питал к сему владыке особую привязанность за ту помощь, которую тот оказал ему в осуществлении его призвания.

Желая, дабы и другие новиции почерпнули назидание из примера Алоизия, настоятели поселили его в самой большой комнате новициата вместе с несколькими собратьями. Однако он страдал бессонницей и, промаявшись ночь, нуждался в отдыхе поутру, а ранний подъем его сотоварищей лишал его этой возможности. Вскоре это начало пагубно сказываться на его и без того слабом здоровье. Приметив тревожные признаки и желая доставить ему большее удобство, начальствующие перевели его в отдельную комнату, расположенную под большой залой.

Однако зала эта служила переходом ко многим жилым покоям, и непрестанное хождение людей взад и вперед делало комнату Алоизия еще более шумной и менее пригодной для отдыха, нежели прежняя. Алоизий же, заметив это, лишь благодарил Бога, почитая неудобства за знак особого благоволения к нему Его Божественного Величества.

И воистину, должно полагать, что так оно и было; ибо, невзирая на всё внимание и заботу настоятелей, некоторые с изумлением примечали необычайные события, творившиеся с Алоизием в той коллегии. Без сомнения, сие происходило по Промыслу Божию, Который, сообразно желанию юноши, подавал ему повод к стяжанию заслуг и небесного венца (ср. Иак 1:12).

Так, случилось, что для выхода в город ему выдали верхнее платье, необычайно короткое, к тому же столь потертое и рваное, что от ветхости оно совершенно изменило цвет. Всякому иному настоятели из соображений приличия велели бы тотчас сменить его, но в случае с Алоизием они словно бы того и не замечали.

Не раз случалось той зимой, что после обеда в праздничные дни, невзирая на дождь и непогоду, он отправлялся с другими братьями петъ вечерню в Дом профессов. В подобные ненастные дни министр коллегии обычно не позволял выходить на улицу даже братьям более крепким, нежели наш святой, и, стоя у дверей, возвращал их в комнаты; Алоизия же, которого он, несомненно, должен был бы удержать, он словно не видел и позволял ему идти.

К тому же, хотя во всех обителях Общества о больных и так принято печься с великим тщанием, в Неаполе это делают с особенным милосердием. И тем не менее, когда Алоизий занемог рожистым воспалением с сильной горячкой, приковавшей его к постели более чем на месяц и подвергшей его жизнь огромной опасности, по некоему упущению служителей он пролежал одну ночь вовсе без простыней. Полагаю, ни с одним иным больным в коллегиях Общества не случалось подобного; для Алоизия же Бог попустил сие, дабы доставить ему духовную отраду.

В той болезни он явил великое терпение; и хотя страдал от жестоких и непрестанных болей, лицо его всегда оставалось безмятежным, а с теми, кто навещал его, он беседовал с глубоким смирением и кротостью. Когда же по его выздоровлению стало ясно, что неаполитанский климат не идет ему на пользу и головные боли лишь усиливаются день ото дня, Отец Генерал отозвал его в Рим. Алоизий отправился в путь 8 мая 1587 года, пробыв в Неаполе лишь полгода.

¹ *Petrus apostolus et Paulus doctor gentium – ipsi nos docuerunt legem Tuam, Domine (Петр Апостол и Павел, Учитель народов, – сии научили нас закону Твоему, Господи)*

² *Deus, cuius dextera beatum Petrum
ambulantem in fluctibus,
ne mergeretur, erexit, et coapostolum eius Paulum,
de profundo pelagi liberavit:
Exaudi nos propitius, et concede;
ut, amborum meritis,
aeternitatis gloriam consequamur.*

(Боже, Чья десница воздвигла блаженного Петра, когда он шел по волнам, дабы не утонул, и избавила соапостола его Павла из морской пучины, милостиво услышь нас и даруй, чтобы по заступничеству их обоих мы сподобились достичь славы вечности).

ГЛАВА XI. О жизни и добродетели святого Алоизия во время его учения в Римской коллегии

Возвращение Алоизия в Рим принесло великую радость всем юношам Римской коллегии и в особенности тем, кто узнал и полюбил его еще в новициате Сант-Андреа. Они надеялись почерпнуть немалое назидание из примера его святой жизни и благочестивых бесед. Алоизий тоже радовался, прежде всего тому, что курс его наук будет проходить в Риме — там, где пребывает глава нашего Ордена, в первой коллегии и университете Общества.

С этого времени и до самой его блаженной кончины я, наравне со многими другими в той коллегии, находился с ним в близком общении, а потому могу как очевидец свидетельствовать о большей части того, о чем намерен поведать. Тем паче, что уже

тогда я начал вести записи для составления сего труда, как о том упоминалось в предисловии к этой истории.

В Риме Алоизий продолжил изучение метафизики. Вскоре стало ясно, что он не только прекрасно усвоил логику и физику, но и в метафизике преуспел столь значительно, что настоятели сочли его способным к публичной защите тезисов, как то заведено в наших школах. Были напечатаны выводы по всем предметам философии, которые обычно преподаются в курсе; и спустя всего шесть месяцев пребывания в Римской коллегии Алоизий публично защитил их.

На этот торжественный акт в большую залу училищ прибыли светлейшие господа кардиналы делла Ровере, ди Мондови и Гонзага, а также многие иные прелаты и знатные особы. Обыкновенно подобные диспуты отцов Общества проводятся в богословских классах, но на сей раз их перенесли в большую залу. Алоизий защищал свои тезисы под всеобщие рукоплескания слушателей и при особом одобрении упомянутых преосвященных владык. Все были поражены тем, что за столь короткое время и при столь слабом здоровье он сумел достичь таких высот в познании наук.

Раз уж мы заговорили об этих ученых спорах, должно добавить две примечательные подробности.

Первая состоит в том, что перед самою защитой Алоизий долго пребывал в сомнении: не следует ли ему, ради собственного унижения и умерщвления [гордости], намеренно отвечать плохо? Не желая полагаться на собственное суждение в столь важном деле, он обратился за советом к отцу Муцио д'Анджели, одному из преподавателей философии той коллегии, мужу не только весьма ученому, но и преисполненному духовной мудрости и добродетели, с коим Алоизий часто беседовал о небесных предметах. И хотя о. Муцио по благоразумным причинам отсоветовал ему поступать так, во время самой защиты желание подвергнуться унижению вновь охватило юношу. Он на мгновение замер в нерешительности, но в конце концов доводы наставника возобладали, и Алоизий решил отвечать наилучшим образом, что и сделал.

Вторая же подробность такова: Алоизий по своему смирению совершенно не выносил похвал. Один из учителей, выступавших его оппонентами, предварил свои возражения пышным вступлением, восхваляя добродетели юноши и славу его древнего рода. Бедный Алоизий при этих словах так покраснел, что все присутствующие, знавшие о его отвращении к суетной славе, прониклись к нему глубоким сочувствием. Светлейший кардинал Мондови особо приметил это чистосердечное смущение и скромную стыдливость юноши и извлек из них для себя великое назидание; Алоизий же отвечал на доводы упомянутого учителя с такой суровостью, словно негодовал на самого себя за навязанную ему честь.

Окончив курс философии, Алоизий тотчас приступил к изучению богословия. В течение четырех лет его наставниками были разные профессора, итальянцы и испанцы — люди многоопытные, обладавшие глубокими познаниями и мудростью. К ним Алоизий питал величайшее уважение и всегда отзывался о них с похвалой. Никто никогда не слышал, чтобы он оспаривал их выводы, критиковал манеру преподавания или сетовал на краткость либо затянутость лекций. Со всеми учителями он держался предельно почтительно.

Он старался принять мнение учителя как своё собственное, изыскивая доводы для его защиты и подтверждения. При этом он никогда не позволял чувствам влиять на

суждение своего разума. Алоизий не любил диковинных и спорных мнений; всю свою любовь он обратил на творения св. Фомы Аквинского. Их строгий порядок, ясность и надежность учения неизменно доставляли ему отраду, а к самому святому он испытывал особую личную привязанность.

Алоизий обладал прекрасным и ясным умом в сочетании со зрелостью суждений, что видели и мы сами, и что признавали его учителя. Один из них однажды заметил, что ни один ученик не заставлял его так долго и напряженно размышлять над ответом, как Алоизий Гонзага одним-единственным вопросом, который он ему предложил.

К природному дарованию он прилагал великое прилежание, насколько позволяли его силы и воля настоятелей. Прежде чем приступить к занятиям, он всегда творил краткую молитву на коленях. Учеба его заключалась не в чтении множества разных авторов, но в глубоком размышлении над лекциями своих учителей. Если из-за сложности темы у него возникало сомнение, которое он не мог разрешить сам, он записывал его. Позже он предлагал этот вопрос учителю либо под конец повторительного занятия (когда другие уже высказали свои затруднения), либо, собрав несколько вопросов вместе, выбирал час, наименее обременительный для наставника, и приходил к нему в комнату.

Во время таких посещений он всегда говорил по-латыни и стоял с биреттой в руках, если только его не принуждали сесть или покрыть голову; получив же ответ, он тотчас возвращался к себе. Он никогда не читал книг по предметам обучения без дозволения и совета своих наставников.

О том, насколько точно он им повиновался, можно судить по следующему случаю. Однажды он зашел в комнату к отцу Агостино Джустиниани, дабы разрешить некое сомнение в вопросе о предопределении. Дав ответ, отец открыл седьмой том сочинений св. Августина и указал пальцем на то место в конце книги «О благе постоянства» (*De bono perseverantiae*), где святой рассуждает на сию тему. Алоизий прочел всю указанную страницу, но не посмел перевернуть лист, чтобы дочитать последние десять строк, которыми завершался труд. А поступил он так лишь потому, что отец не дал ему прямого указания читать далее; сам же наставник и не подозревал, что на обороте остались еще строки.

Он участвовал в диспутах и защищал тезисы в классах или дома всякий раз, когда того требовал старшина. Более того, он сам предлагал старшине свои услуги, дабы заменить любого, кто не смог бы выступить. В его вопросах и ответах ясно проявлялся блеск его ума, ибо он одним-двумя доводами попадал в самую суть трудности. При этом в нем не обнаруживалось и тени бахвальства или желания возвыситься над другими. Он вел диспуты с кроткой убедительностью, никогда не прибегая к колким словам, не горячась и не повышая голоса; всегда давал оппоненту время ответить и изложить свою мысль, не перебивая его; когда же видел, что сомнение разрешено, то с великим простодушием признавал поражение.

Всякий раз перед тем, как звенел колокол, призывая к началу занятий, он заходил в храм поклониться Пресвятым Тайнам; то же самое он делал, возвращаясь домой, — и утром, и вечером.

Когда он шел в школу или возвращался обратно, он сиял совершенным благочинием и столь необычайной скромностью, что многие иноземные студенты нарочно останавливались в школьном дворе, дабы увидеть, как он проходит мимо, и все они получали великое назидание. Один приезжий аббат, уже завершивший в тех школах курс

богословия, признавался, что, привлеченный скромностью Алоизия, приходил на лекции лишь ради того, чтобы созерцать его, и во всё время лекции не сводил с юноши глаз.

И в том не должно усматривать ничего удивительного. Ибо, как показал провинциал Венеции в ходе процесса в суде патриарха Венецианского, на Алоизии, казалось, исполнялись слова святого Амвросия, сказанные им в толкование на стих псалма: «Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются» (Пс 118:74), а именно: «Драгоценно видеть мужа праведного. Ибо для большинства взор праведника есть призыв к исправлению, для совершенных же — истинная радость».

Именно такое действие производил облик сего благословенного юноши на тех, кто на него взирал. На нем вновь подтверждалось сказанное тем же святым отцом: «Взор праведника исцеляет, и само сияние очей его как бы изливает некую добродетель в тех, кто с искренним сердцем желает его видеть». Всё сие происходило оттого, что внешность Алоизия была столь преисполнена достоинства и сосредоточенности, что побуждала к благоговению и сокрушению каждого, кто на него смотрел.

Более того, само его присутствие побуждало к духовной собранности всякого, кто с ним общался, и не только мирян или его юных братьев-иноков, но и почтеннейших отцов. Казалось, подле него каждый стремился к благообразию, и никто в его присутствии не позволял себе ни пустого слова, ни на легкомысленного поступка. По пути в школу и обратно, во время лекций или диспутов никто и никогда не слышал, чтобы Алоизий хоть раз заговорил с кем бы то ни было из мирян или своих братьев; он хранил совершенное и безукоризненное безмолвие.

Видя его постоянную телесную немощь и недомогания, настоятели не позволяли ему самому вести записи на лекциях; тем более что он, не имея к тому привычки, никак не мог поспеть за быстрой речью учителей. Посему они распорядились, чтобы лекции для него записывал писец, и Алоизий покорился.

Настоятели полагали несообразным, чтобы те, кто по немощи прибегает к услугам писца, сами распоряжались деньгами и заботились об оплате его труда; они видели в этом опасность различных несовершенств, противных чистоте обета бедности и уставам Общества. Поэтому Алоизий просто отсылал писца за платой к казначею коллегии, назначенному для подобных дел, и более ни во что не вмешивался. Свои же записи он охотно давал каждому, кто о том просил, и никогда не требовал их обратно, ожидая, пока их вернут сами.

В один из годов отец Габриэль Васкес, его учитель, не успел закончить в классе чтение трактата «О Троице» (*De Trinitate*); он продиктовал лишь самое необходимое, а остальное раздал студентам для самостоятельного переписывания. Настоятели велели Алоизию отдать эти тексты переписчику. Он же, предварительно просмотрев рукописи учителя, опустил всё более или менее легкое и велел переписать лишь самое трудное и существенное. На вопрос одного из братьев, почему он так поступает, Алоизий отвечал: «Потому что я беден (ср. Пс 85:1) и делаю это ради соблюдения бедности; ведь бедным не должно тратиться ни на что, кроме необходимого».

Ближе к завершению курса, опасаясь, как бы пользование услугами писца вместо того, чтобы восполнять действительную нужду, не превратилось скорее в пристрастие к удобствам или тщеславное попечение о своем достоинстве, он стал настойчиво просить настоятелей дозволить ему писать в классе самому. Он привел столь веские доводы, что добился желаемого. И так как он не мог поспевать за быстрой речью учителя, то долго

слушал, а затем кратко записывал суть; после же лекции просматривал записи соучеников и дополнял из них то, что пропустил из необходимого. Он находил истинную отраду в преодолении этих трудностей, стремясь лишь к тому, чтобы подать другим благой пример и послужить к их назиданию.

Алоизий не желал держать у себя в келье книг, которые не были ему надобны постоянно. Он полагал, что иноку, возлюбившему святую бедность, не подобает иметь под рукою труды, которыми он пользуется лишь изредка, когда можно, преодолев небольшое неудобство, сходить за ними в общую библиотеку. К концу же своего учения он дошел до того, что оставил у себя лишь Библию да «Сумму» св. Фомы Аквинского; когда же ему требовались творения Святых Отцов или иные книги, он неизменно отправлялся в общую библиотеку.

Более того, узнав однажды, что один из только что прибывших в коллегия студентов не имеет «Суммы» св. Фомы (ибо в той коллегии, помимо отцов и учителей, более сорока человек изучали богословие, и общих книг не хватало на каждого, а держать собственные книги или приобретать их самостоятельно иезуитам не дозволялось), Алоизий пошел просить отца ректора о дозволении отдать прибывшему свой экземпляр, приведя такой довод: в случае нужды он сможет воспользоваться «Суммой» своего соседа по келье. Он говорил столь убедительно, что ректор позволил ему это.

Алоизий исполнился величайшей радости — и оттого, что оказал милость упомянутому брату, и оттого, что ныне чувствовал себя еще беднее прежнего. Ведь теперь у него не оставалось ровно ничего, что он мог бы назвать своим, а из общего достояния при нем была лишь Библия.

Это всё, что я могу поведать об учебе св. Алоизия. Однако гораздо более предстоит нам сказать о христианских добродетелях, кои сияли в нем в ту пору. В каждой из них он являл собой предивный и живой образец всякого совершенства, внутреннего и внешнего; чему свидетелями являемся как мы сами, так и более двухсот иноков Общества, живших тогда с ним в одной коллегии и находившихся в постоянном общении с ним.

ГЛАВА XII. О принесении Алоизием обетов и принятии им младших чинов

Алоизий пробыл в Обществе уже два полных года. Когда он окончательно утвердился в иноческом призвании, и Общество оказалось вполне довольным его преуспеянием, юноша, после нескольких дней уединения и совершения «Духовных упражнений», принес свои обеты. Случилось сие 25 ноября 1587 года, в день памяти св. Екатерины, девы и мученицы (в тот же самый день, когда двумя годами ранее он вступил в новициат).

Обеты бедности, целомудрия и послушания он принес в присутствии многих лиц в капелле нового здания, расположенной над школами Римской коллегии. Литургию там совершал о. Винченцо Бруно, бывший в ту пору ректором; он же причастил Алоизия и принял его обеты. Алоизий ощутил в тот миг глубокую радость: он чувствовал, что стал наконец истинным иноком, соединенным с Богом еще более тесными узами.

25 февраля 1588 года в соборе Святого Иоанна на Латеранском холме он наконец принял тонзуру вместе со многими другими братьями из Общества. Среди его спутников был и блаженный отец Абрам Джорджи, маронит, который впоследствии, на пути из Индий в Эфиопию, принял мученический венец за святую веру.

В том же соборе и с теми же сотоварищами Алоизий был посвящен в чин остиария — 28 февраля того же месяца, в чин лектора — 6 марта, экзорциста — 12 марта и, наконец, в чин аколита¹ — 20 марта того же года, о чем имеется запись в книге Римской коллегии, специально для того предназначенной.

С тех пор он неизменно вел жизнь, исполненную всех добродетелей, коих только можно ожидать от инока-клирика. О добродетелях этих мне и хочется ныне поведать подробно, пока речь идет о Римской коллегии. Ведь эта коллегия стала для него, можно сказать, постоянным жилищем, и именно в ней более чем где-либо еще открылась его святость и вызвала всеобщее восхищение.

¹ Четыре младших чина (лат. *ordines minores*), существовавшие в Католической церкви до 1972 г., были ступенями подготовки к священству. Остиарий (привратник) оберегал вход в храм; лектор (чтец) читал Писание за богослужением; экзорцист читал молитвы над оглашенными; аколит прислуживал у алтаря.

ГЛАВА XIII. О смирении святого Алоизия

Начну я с описания смирения, этого основания иноческого совершенства и святости, стража всякой добродетели. В нем Алоизий столь преуспел, что, стяжав многие милости и дары от Господа нашего, ни разу не возгордился, но неизменно пребывал в святом смирении. Ни над какой иной добродетелью не трудился он с таким усердием, как над этой.

После его блаженной кончины мы нашли кое-какие духовные записи, начертанные его собственной рукой. Среди них было одно правило, согласно которому он намеревался поступать; в конце его он приводит несколько побуждений для стяжания смирения. Поскольку оно весьма кратко и может быть полезно каждому, я приведу его здесь слово в слово. Алоизий пишет следующее:

«Первое начало: помни, что ты сотворен Богом и обязан стремиться к Нему, ибо ты Им сотворен, Им искуплен и Им призван. Из сего следует, что тебе должно воздерживаться не только от всякого дурного дела, но даже от дел безразличных и праздных. Напротив, прилагай все силы к тому, чтобы каждое твое действие — внутреннее ли, внешнее ли — было добродетельным, дабы ты всегда шествовал к Богу.

Первое: по общему призванию членов Общества Иисусова и по твоему личному, ты обязан следовать под знаменем Христа и Его святых. Отсюда следует, что о любом деле, должности или занятии ты должен судить по тому, сообразно ли оно твоему призванию; и со своей стороны ты должен либо стремиться к ним, либо избегать их, смотря по тому, насколько это согласуется с примером Христа и Его святых. Для сего старайся ближе познать жизнь и деяния Христа через размышление над ними, а жизнь святых — через чтение о них с глубоким вниманием и рассуждением.

Второе начало для управления твоими чувствами: ты будешь вести жизнь иноческую и духовную лишь в той мере, в какой во внутреннем делании своем будешь руководствоваться *secundum rationes aeternas et non secundum temporales* (основаниями вечными, а не временными). Поступай так, чтобы всё, что ты любишь и чего желаешь, или чему радуешься, имело духовную причину; то же касается и того, что ты ненавидишь

или чем недоволен. Утвердись в мысли, что именно в этом и заключается жизнь человека духовного.

Третье начало: подобно тому как бес постоянно нападает на тебя через тщеславие и самолюбие, ибо это слабейшая часть твоей души, так и ты в ответ должен приложить сугубое и неустанное радение. Противься этому злу смирением и презрением к самому себе — как внутренним, так и внешним. Для сего напиши себе несколько личных правил, дабы прилежно трудиться над стяжанием сей добродетели; правила сии преподаны Самим Господом нашим и подтверждены опытом.

О ТОМ, КАК ПРИЛЕЖАТЬ СТЯЖАНИЮ СМИРЕНИЯ

Первое средство: уразумей, что хотя сия добродетель более всего подобает людям по причине их ничтожества, однако же *non oritur in terra nostra* („не возрастает она на нашей почве“; ср. Вульг. Иов 28:13). Её должно испрашивать с небес у Того, от Кого исходит *omne datum optimum, et omne donum perfectum* („всякое даяние доброе и всякий дар совершенный“; Иак 1:17). Посему, сколь бы ни был ты горд, понуждай себя со всем возможным смирением испрашивать сию добродетель у бесконечного Божия Величия, у первого и главного Источника её. Делай же это через заступничество и ради заслуг глубочайшего смирения Иисуса Христа, Который, *cum in forma Dei esset, exinanivit semetipsum formam servi accipiens* („будучи образом Божиим... уничижил Себя Самого, приняв образ раба“; Флп 2:6–7).

Второе средство: прибегай к заступничеству святых, кои особенно отличились в сей добродетели. Во-первых, помышляй о том, что если здесь, на земле, они сподобились стяжать смирение в столь высокой степени, то и там, на небесах, где они более угодны Богу, нежели были в миру, они будут иметь в том еще большую силу предстательства. И поелику сами они более не нуждаются в уничижении, ибо этим путем уже взошли на высоту небесную, моли их, дабы ныне они испросили смирение у Бога для тебя. Во-вторых, помысли еще и о том, что как на земле всякий по природе своей старается покровительствовать тем, кто стремится к тому же призванию, в коем он сам преуспел (как, например, великий полководец при дворе короля печется о тех, кто жаждет отличиться на ратном поприще; или ученый муж помогает тем, кто прилежит книжности; равно и великий зодчий или математик споспешествует тем, кто желает преуспеть в строительном или математическом искусстве), так и в небесах: те, кто особенно просиял в одной добродетели более, нежели в иных, особым образом покровительствуют и помогают стяжать её тем, кто усердно к ней стремится. Посему их заступничеству и вверяй себя.

Ради сего помни, что должно наипаче прибегать к Преподобной Деве, Матери Божией, к самой прославленной среди чистых творений, превзошедшей всех в сей добродетели. После же Нее из числа апостолов призывай св. Петра, который говорил о себе: *Exi a me, Domine, quia homo peccator sum* („Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный“; Лк 5:8); и св. Павла, который, будучи восхищен до третьего неба (ср. 2 Кор 12:2), столь низко мыслил о себе, что восклицал: *Venit Jesus peccatores salvos facere, quorum primus ego sum* („Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый“; 1 Тим 1:15).

Первое из приведенных двух размышлений поможет тебе уразуметь, сколь великую силу имеют сии святые пред Богом, дабы испросить для тебя желанную добродетель; второе же — сколь они не только властны, но и готовы это сотворить».

Доселе мы приводили собственные слова Алоизия; из них можно заключить, насколько искренне и глубоко он в действительности возлюбил святое смирение.

В другой своей записи, коей он дал заглавие «Движения благочестия» (*Affetti di divozione*), он начертил такие слова:

«Вверяй свои желания Богу не в том виде, в каком они возникают в твоей душе, но через сердце Христово. Ибо если намерения твои благи, то в Иисусе они зародились прежде, чем в тебе; и Он представит их вечному Отцу с любовью несравненно большей, нежели ты сам. Желая же стяжать некую добродетель, прибегай к святым, кои более всего в ней просияли. Так, с просьбою о смирении обращай к св. Франциску, св. Алексию и иным; о любви — к свв. Петру и Павлу, св. Марии Магдалине и прочим. Ибо как желающий испросить милости у земного государя касательно ратного дела легче достигнет желаемого, если обратится к военачальнику или его полковникам, нежели к мажордому или иным домашним служителям, так и мы, желая стяжать от Бога мужество, должны прибегать к мученикам, желая покаяния — к исповедникам, *et sic de singulis* (и так во всём)».

В этих словах открывается то же устройство духа, что и в приведенном выше наставлении. О себе же он мыслил крайне низко, являя то как на словах, так и на деле. Никогда не совершал он поступка и не произносил слова, которое хотя бы отдаленно клонилось бы к его собственной похвале. Напротив, дивным молчанием он скрывал всякое своё превосходство, будь то мирское (знатность крови, славу рода и титул маркиза) или личное (остроту ума, глубину познаний и всё иное, что могло принести ему славу). От одного лишь намека на похвалу он тотчас краснел, подобно юной деве; и для того, кто желал увидеть его румянец, не было лучшего способа, как начать хвалить его.

Приведу лишь два примера тому, опустив многие другие. Первый: однажды, когда Алоизий занемог, врач, пришедший навестить его, принялся превозносить благородство крови семейства Гонзага, упоминая о его близком родстве с герцогами Мантуи. Юноша же, не желая, чтобы его почитали за того, кем он был по рождению, выказал великую досаду и дал врачу понять, сколь неприятны ему эти речи. Подобное случалось часто, и всякий раз он сокрушался о своем высоком происхождении; ничто не могло причинить ему большего огорчения, нежели напоминание о его знатности или признание в нем каких-либо природных достоинств. Казалось, все прочие страсти он искоренил в себе совершенно, сохранив лишь живое чувство досады, которое пробуждалось в нем, когда ему оказывали почести или хвалили за мирские достоинства.

В другой раз, произнеся в трапезной проповедь на праздник Очищения Пресвятой Девы — слово весьма рассудительное и преисполненное духа, за которое все заслуженно его хвалили, — Алоизий, услышав одобрение из уст о. Джироламо Пьятти, так сильно покраснел и выказал столь глубокое смирение, почитая похвалу незаслуженной, что все присутствующие исполнились радости. Само это смущение делало его любезным и милым в глазах каждого, кто на него взирал.

Алоизий неизменно уступал почетное место каждому — и в стенах дома, и за его пределами. Если же случалось ему выходить в город вместе с братьями-помощниками, он всегда пропускал их вперед. Не раз он так уступал первенство даже повару Римской коллегии; и хотя братья смущались, принимая такую честь, Алоизий находил столько доводов, что им приходилось соглашаться, дабы не огорчать его.

Впоследствии за это он получил выговор от настоятелей. Они запретили ему впредь так поступать — если не по иной причине, то ради достоинства священного сана, о коем ему надлежало печься более, нежели о собственном уничтожении.

В обители он охотно и часто беседовал с братьями-помощниками и простым людом. Когда же давали сигнал к трапезе, он почти всегда направлялся к столу в самом дальнем углу трапезной, где обычно сидели повара и иные кухонные работники, располагавшиеся поближе к месту своих трудов.

Настоятели же, видя его хрупкое сложение и постоянные недомогания, распорядились, чтобы он садился за стол для выздоравливающих¹, а по утрам дозволили ему не вставать вместе со всеми на рассвете, освободив и от прочих тягот. Но Алоизий, опасаясь, не оказывают ли ему это почтение из-за его происхождения, не раз представлял настоятелям столь веские основания в подтверждение того, что не нуждается в подобном снисхождении, что добился разрешения во всем следовать общему порядку.

Когда же близкие друзья убеждали его смириться с велениями настоятелей, говоря, что иначе он занеможет, Алоизий отвечал: «Коль скоро я стал иноком, я обязан прилагать все силы к тому, чтобы жить так, как живут другие. А что я могу заболеть, исполняя уставные обязанности, меня нимало не беспокоит — лишь бы в том не было преслушания».

В Римской коллегии обычно проживает более двухсот человек, поэтому нет возможности предоставить отдельную келью каждому из учащих. Начальство обыкновенно расселяет поодиночке лишь священников, учителей, некоторых должностных лиц или тех, кто в том особенно нуждается; прочие же живут по несколько человек в комнате, где для каждого устроено учебное место и постель.

Видя немощь Алоизия, наставники пожелали предоставить ему отдельную келью, но он сам пошел к отцу ректору и убедил его, что ради доброго примера ему подобает жить вместе с собратьями. Получив на то дозволение, он вовсе не позаботился о том, чтобы соседом его оказался ученый богослов (что могло бы почитаться за честь), но искал себе в сотоварищи человека самого простого и неприметного; впрочем, он с полной готовностью принял бы любого, кого ему назначили.

Он очень хотел, чтобы его назначили префектом² в Семинарию. Эта должность, помимо возможностей к добровольному уничтожению ради любви Божией, сопряжена со многими неудобствами и требует постоянного, изнурительного самоотречения. Однако настоятели, не будучи уверены, что здоровье позволит ему вынести такое бремя, не дали на то согласия.

Также он питал горячее желание по окончании курса богословия получить место учителя в самом начальном классе грамматики. С одной стороны, он жаждал того ради возможности наставлять детей в добродетели и христианском благочестии (отчего он свято завидовал учителям грамматики и в беседах с ними называл их «блаженными»); с другой же стороны — по глубокому чувству смирения, стремясь ни в чем не выделяться среди прочих. Он не раз настойчиво просил начальствующих об этом назначении. Ну а чтобы эта просьба не казалась продиктованной лишь тягой к уничтожению, он уверял отца ректора, будто плохо знает грамматику и не владеет латынью в должной мере, а потому ему необходимо учиться самому, дабы со временем стать полезным Обществу. С тем же он обращался и к префекту младших школ, порой принося ему на проверку

латинские упражнения, сочиненные им для учеников начальных классов, дабы убедить отца в искренности своего желания и способности к такой работе.

Отец ректор по его настоянию, а также желая проверить, правда ли Алоизий столь слаб в латыни, дал ему сотоварища по келье, с коим тот мог бы упражняться в языке; и вскоре обнаружилось, что святой владеет латынью превосходно. Несмотря на это, Алоизий вновь обратился к ректору и убеждал его, что, исходя из его опыта, подобным путем он никогда не достигнет должного изящества в латинской речи, и для истинного преуспеяния в языке ему насущно необходимо самому наставлять других.

Алоизий часто хаживал по Риму в ветхом, разодранном платье, возложив на плечо корзину или суму, и в великой радости духа испрашивал милостыню. В самой же обители не находилось столь низкого или смиренного труда, коего не возжелал бы он с жаром несравненно бóльшим, нежели честолюбцы домогаются почестей и званий.

Обычно по понедельникам и вторникам, утром и вечером, он прислуживал на кухне; обязанностью его было убирать посуду со столов, чистить её и собирать остатки трапезы для последующей раздачи нищим. Когда же по послушанию (а он часто сам испрашивал на то дозволение у настоятелей) ему выпадало нести это подаяние к воротам обители, он делал это с великим смирением и человеколюбием.

В будние дни по окончании лекций он занимался иными простыми трудами: то подметал кельи и иные указанные ему места, то длинной тростью собирал паутину в общих покоях и залах.

В течение нескольких лет его постоянным послушанием было чистить и заправлять общественные светильники в коридорах и залах, подливая масло и меняя фитили по мере надобности. В исполнении этих скромных дел он находил столь великую отраду, что, не в силах сдержать внутреннее ликование, выказывал его и внешне. Глядя на него за таковыми занятиями, некоторые собратья говаривали, что Алоизий ныне «торжествует», ибо достиг наконец того, чего желал. Сам же он утверждал, что удовольствие от таких поручений стало для него как бы природным и не требует более ни усилий, ни особого размышления.

И хотя для членов Общества подобные труды — дело обычное и привычное, всё же, видя, кто именно и с каким расположением духа их исполняет, всякий получал великое назидание. Словом, можно сказать, что он воистину презирал самого себя и во всем искал лишь повода к собственному унижению.

¹ В иезуитских обителях и коллегиях того времени «стол для выздоравливающих» (*tavola dei convalescenti*) был частью монастырского распорядка, призванной помочь братьям восстановить силы после болезней. Для тех, кто сидел за этим столом, строгие правила монастырского воздержания и общепринятые посты временно отменялись. По распоряжению врача и с дозволения настоятеля им могли подавать более питательную пищу (например, мясо или яйца), которая была запрещена остальной братии в постные дни.

² Скорее всего, имеется в виду должность «префекта дисциплины», в обязанности которого входило следить за внешним поведением студентов в быту: соблюдением тишины, распорядка дня, правил поведения за трапезой, в общих помещениях, во время

прогулок. Это послушание было физически тяжелым, а кроме того требовалось постоянно находиться в шумной обстановке, разбирать споры юнцов, следить за их поведением и нести ответственность за любые нарушения. Наверняка приходилось также сносить их ропот и небезобидные розыгрыши.

ГЛАВА XIV. О послушании святого Алоизия

С этим глубочайшим смирением неразрывно сочеталось и совершенное послушание. Довольно будет сказать лишь то, что сам Алоизий не мог припомнить, дабы когда-либо преступил волю настоятелей или хотя бы ничтожнейшее их распоряжение. Более того, он никогда не чувствовал в себе ни желанья, ни склонности, ни даже первого движения, противного их воле — разве что в тех случаях, когда его отрывали от дел благочестия. Впрочем, обычно он и тогда не ощущал никакого внутреннего противления, а если таковое и возникало (что случалось крайне редко), то он с необычайным тщанием и быстротою подавлял его.

Поэтому во всех делах он не только сообразовал свою волю с волею настоятеля, но и подчинял ей свои чувства и самое суждение. Он никогда не доискивался причин того или иного приказа: ему достаточно было знать, что таково веление старших, дабы признать его благом.

Столь совершенное послушание имело основание в том, что за каждым настоятелем он прозревал Самого Бога. Алоизий рассуждал, что, поскольку мы обязаны повиноваться Богу, Который невидим, и не можем непосредственно от Него получать повеления и узнавать Его волю, то Господь поставил на земле Своих заместителей и истолкователей Своей воли — наших настоятелей. Через них Он открывает, чего от нас требует, и желает, дабы мы повиновались им как вестникам Его изволения.

Алоизий полагал, что именно это имел в виду св. Павел, когда писал к Ефессянам: *Obedite dominis carnalibus sicut Christo, et ut servi Christi facientes voluntatem Dei ex animo* («Повинуйтесь господам своим по плоти... как Христу, ...как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души»; Еф 6:5–6). О том же он говорит и в Послании к Колоссянам, рассуждая о послушании: *Quodcumque facitis, ex animo operamini, sicut Domino, et non hominibus* («И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков»; Кол 3:23). Ибо приказание надлежит принимать как исходящее от Бога, а настоятеля почитать за вестника, приносящего волю Господню.

Подобно тому как если король или иной государь посылает своего камергера или другого служителя с приказом либо поручением к своему вассалу, то этот приказ называют волею короля или государя, а не того служителя, и вассал, принимая его, принимает веление государя и как таковое исполняет, так и инок должен принимать повеления настоятелей как волю Божию, переданную ему через человека, и исполнять их со всяческой быстротою и почтением.

Из этого убеждения проистекали то глубокое уважение и почтение, кои он питал ко всем своим настоятелям, а равно и то благоговение, с которой он к ним относился. Ибо он взирал на них как на служителей Божиих и истолкователей воли Его Божественного Величества.

Вот почему он находил великую отраду в их повелениях; и для него было совершенно безразлично, стоял ли над ним начальник низший или высший, был ли он ученый или

неученый, благочестивый или несовершенный, знатный или нет. Он с равной готовностью повиновался каждому, коль скоро тот олицетворял Бога.

Алоизий еще говорил, что тот, кто приучает себя к послушанию из такого побуждения, обретает двоякое благо. Первое состоит в том, что такой человек не только не чувствует в послушании ни затруднения, ни тягости, но, напротив, находит в нем великую отраду и необычайную легкость, ведь он исполняет волю Божию, почитая за великую честь и милость саму возможность служить Господу. Второе же состоит в том, что послушание такого человека становится истинным и совершенным, и он может быть твердо уверен в получении награды, обещанной верным последователям сей добродетели.

Напротив, тот, кто повинуетя лишь потому, что приказание сообразно его вкусу или желанию, либо же по причине личных качеств, талантов и расположения к нему начальника, во-первых, не стяжает никакой заслуги от послушания, ведь его нельзя назвать послушным в подлинном смысле слова, поскольку побуждением для него служит не сама эта добродетель. Во-вторых же, когда сменится настоятель или на его место придет человек менее одаренный или же не столь к нему благоволящий, то, получая от него распоряжения, не во всем сообразные с его собственным нравом, инок неизбежно будет чувствовать великую скорбь и подвергнется многим опасностям для души.

Алоизий почитал за низость духа подчиняться другому лишь из человекоугодия, а не из высших духовных побуждений, о коих сказано выше. Его даже посещало сомнение: не наносят ли вред своим подчиненным те настоятели, которые, снисходя к немощи или несовершенству иноков, прибегают к мирским доводам и житейским резонам, дабы склонить их к исполнению того, чего от них желают.

Сам же он желал, чтобы начальствующие — как с ним самим, так и с другими — действовали с полной решимостью. Он хотел, чтобы при всякой перемене места, при смещении с одной должности и назначении на другую и вообще при любом распоряжении, настоятели указывали лишь на то, как оно поможет в служении Богу к вящей славе Его. По его мнению, приказ должен был звучать так: «Мы считаем, что для служения Богу и вящей славы Божией будет лучше, если вы отправитесь в такое-то место или займетесь тем-то; посему ступайте и исполняйте с благословением Господним».

Алоизий утверждал, что при таком способе управления настоятели выказывают доверие к подчиненному, признавая в нем доброго и послушного инока. Это приучает человека повиноваться в подлинном смысле слова и дает ему случай стяжать заслугу тем большую, чем меньше в том деле остается места для человеческих соображений. Напротив, если прибегать к иным мотивам или предложениям, инок лишается возможности упражняться в истинном послушании и теряет вышеупомянутые блага; более того, порой это дает повод к самооправданию — особенно если подчиненный догадывается или знает, что истинные причины его перевода на другую должность совсем иные, нежели те, что были ему объявлены.

Святой часто говаривал, что возлюбил послушание еще и потому, что не раз видел в распоряжениях настоятелей проявление особого Промысла Божия о себе. Весьма часто, когда он сам ни о чем не просил, начальствующие ни с того ни с сего вдруг дозволяли или предписывали ему именно то, чего он втайне желал ради благочестия или по внушению Божию.

Так случилось однажды, когда, размышляя о тех местах, чрез кои веден был Господь наш в пору Своих Страстей, Алоизий почувствовал сильное желание посетить в тот день семь

паломнических базилик Рима. И вот, без какой-либо просьбы с его стороны, вопреки всякому ожиданию и даже вне обычного распорядка, в тот самый час настоятель призвал его и велел обойти те самые семь церквей. Сие принесло ему сугубую радость: и само по себе, и потому, что он воочию узрел в происшедшем попечение Божие о себе даже в малейших желаниях. Подобных примеров можно было бы привести множество, но мы опускаем их ради краткости.

Когда настоятель укорял его за что-либо, Алоизий являл совершенную внешнюю собранность: стоя с непокрытой головой и потупив взор, он смиренно внимал обличительным словам, никогда не выказывая неудовольствия и не пытаясь оправдываться. Однажды, когда начальник порицал его за некую оплошность (в каковую юноша, будучи отрешен от чувств, часто впадал), Алоизий ощутил столь глубокое сокрушение духа, что лишился чувств. Едва же придя в себя, он пал на колени и со слезами на глазах стал молить о прощении за то, в чем его винули, и в глубочайшем смирении своем столь упорно не желал вставать, что его долго не могли поднять.

С этой же добродетелью послушания неразрывно связано строгое соблюдение уставов Ордена, каковые Алоизий исполнял с такой точностью, что иным она могла показаться чрезмерной. Ибо он не помнил, чтобы когда-либо намеренно нарушил хоть одно правило, даже самое ничтожное; он соблюдал их все до единого с величайшей строгостью, словно в малейшем нарушении их таилась огромная опасность и вред для души. В этом он поступал, проявляя полную независимость от мнения любого человека, будь то собрат по Ордену или мирянин.

Однажды настоятель послал его навестить родственника, кардинала делла Ровере. Когда же кардинал пригласил его остаться на обед, Алоизий ответил: «Светлейший владыка, сие невозможно, ибо противно нашему правилу». Кардинал, получив великое назидание от этого ответа, более никогда ничего ему не предлагал и ни о чем не просил, не присовокупив условия: «если только это не противно вашему уставу». И тот же владыка признался отцу ректору Римской коллегии, что с той поры всегда соблюдает осторожность, дабы не уязвить чуткую совесть Алоизия и споспешествовать благодати Господней, действующей в нем.

Как-то раз он находился в келье вместе с сотоварищем, который, пожелав написать письмо и обнаружив, что у него нет бумаги, попросил у Алоизия пол-листа. Алоизий же, соблюдая правило, запрещающее инокам давать или одалживать что-либо друг другу без разрешения, сначала промолчал, сделав вид, будто не слышит, однако, немедля затем покинув келью, отправился к отцу министру¹ за дозволением исполнить просьбу; вернувшись же, как можно любезнее молвил сотоварищу: «Мне показалось, вы давеча просили бумаги», — и подал её ему. И подобные случаи бывали у него не раз и с другими лицами.

В завершение же ничто не покажет нам лучше его неусыпного рдения об уставе, нежели то, что за все годы иночества он ни разу не преступил ни правила безмолвия, ни предписания говорить в часы занятий лишь по-латыни, хотя именно в этом весьма легко допустить погрешность.

¹ *Функционально эта должность близка к послушанию эконома (или келаря в восточной монастырской традиции). В Обществе Иисуса «министр» (Minister) — это официальный помощник ректора, который отвечает за все материальные нужды обители, снабжение*

братьев необходимыми вещами и соблюдение повседневного распорядка. Поскольку именно он ведал распределением общих запасов (включая бумагу), Алоизий, согласно правилу бедности и послушания, должен был испросить разрешения именно у него. В этом контексте «министр» выступает как хозяйственный распорядитель.

ГЛАВА XV. Об иноческой бедности св. Алоизия

К иноческой бедности он стремился необычайно ревностно, находя в ней такую отраду и утешение, каких скупцы не обретают в своих богатствах. Если еще в миру он столь возлюбил её, что стремился одеваться бедно (как о том было сказано прежде), то всякий может представить, сколь великое радение прилагал он к этой добродетели, состоя в Обществе, которое он имел обыкновение называть «родным домом святой бедности».

Оттого он всячески избегал личного владения чем-либо, дабы не допустить и намека на право собственности. Никогда не имел он одежды, кроме общей, выдаваемой из запасов обители; не держал книг для личного пользования, которые мог бы повсюду возить с собой; не имел ни часов, ни ларца, ни даже футляра какого бы то ни было. Равно и предметов благочестия он не оставлял у себя, дабы одаривать ими других, и не имел охоты к тому, чтобы их дарили ему самому.

Он никогда не имел у себя ни реликвария, ни четок из драгоценного или редкого материала, не выбирал по своему вкусу образа или картинки. В своей келье он довольствовался теми обычными изображениями, что находил там при заселении; самое же большее — держал бумажную иконку св. Екатерины, девы и мученицы поскольку вступил в Орден в день её памяти, и иконку св. Фомы Аквинского, также бумажную, ибо изучал его труды. И те были приняты им лишь по настойчивому принуждению других и с прямого дозволения настоятелей. Более того, он не соглашался использовать бумажные образки даже как закладки для breviария или оффиция, хотя многие обычно так и поступают.

А поскольку не было недостатка в людях, которые по особому расположению к нему не только предлагали различные предметы благочестия, но, так сказать, принуждали его принимать их, испрашивая на то разрешение у начальствующих, Алоизий при возможности любезнейше отказывался. Если же он был вынужден принять дар, дабы не огорчить дарителя, то затем либо относил его настоятелю, либо просил дозволения отречься от владения им и при первом удобном случае передаривал. Величайшей радостью для него было не иметь в мире ничего, ничего не желать и пребывать в совершенном отрешении от вещей.

Он чрезвычайно радовался, когда ему доставались худшие вещи, и в каждом случае, насколько то зависело от него самого, всегда выбирал что похуже. Наше правило, которое учит и требует, дабы каждый «убеждал себя, что из всех вещей, имеющихся в обители, ему будут даны худшие — к вящему его усмирению и пользе душевной», он истолковывал так: подобно тому как убогий нищий, прося милостыню, заранее уверен, что получит не лучшие одежды, какие есть в доме, но именно самые ветхие и поношенные, а равно и из остального ему перепадут лишь остатки; так и мы, если мы — истинные бедняки, должны быть убеждены, что в обители нам всегда будет доставаться наихудшее. Выражение «убеждать себя», говорил он, обладает такой силой, что велит нам принимать это как несомненную данность: так оно и будет, и именно так тому и надлежит быть.

Не раз он признавался своему исповеднику, что при распределении вещей ему часто доставалось именно худшее; притом по своей любви к бедности он ценил это как знак особого благоволения Божия и почитал за великое благодеяние и милость от Господа нашего

В Ордене он держал себя с таким смирением, словно и впрямь был нищим побирушкой, принятым в обитель из одной лишь милости; и всё, что ему давали, почитал за немыслимую щедрость. Если за трапезой он понимал, что некое блюдо может повредить его здоровью, он оставлял его нетронутым, при этом столь искусно утаивал это от прислуживающих братьев, что те ничего не примечали — так сильно Алоизий стремился избежать, чтобы ради него подавали что-то другое.

ГЛАВА XVI. О его чистоте и искренности, покаянии и умерщвлении плоти

О целомудрии его нет нужды говорить более того, что он навсегда сохранил сей драгоценный дар девства плотского и духовного столь же полно и совершенно, как о том повествовалось во второй главе первой части.

В речах же и общении он был в высшей степени правдив и искренен, совершенно прост и безукоризненно верен слову, так что каждый мог быть уверен: его «да» было «да», а «нет» — «нет» (ср. Мф 5:37), нисколько не опасаясь двусмысленности или притворства. Он часто говаривал, что хитрость, лукавство, притворство, вымысел и недомолвки, принятые в миру — как на словах, так и на деле, — губят человеческое общение; в Ордене же они суть подлинный яд для иноческой простоты и сушая чума для юношества, ибо таковые качества отнюдь не могут сочетаться с истинным духом монашества.

Что касается умерщвления плоти, он имел столь великое влечение к телесным покаянным подвигам, что если бы настоятели не удерживали его, он, весьма вероятно, сократил бы дни свои, ибо ревность увлекала его за пределы сил. И когда некоторые, взирая на его слабое здоровье, выражали удивление, как он не боится обременять настоятелей столь частыми просьбами о новых покаяниях, Алоизий отвечал, что с одной стороны, он сознает скудость своих телесных сил, но с другой, чувствуя внутреннее побуждение к подобным подвигам, почитает за благо идти к настоятелю, который осведомлен обо всём, ведь от него он получит дозволение лишь на то, что будет угодно Богу, в остальном же ему будет отказано.

Алоизий добавлял также, что порой просит о разрешениях на некоторые подвиги, заранее зная, что дозволения не получит, но поскольку он не может совершить их на деле, как того желал бы, то хочет по крайней мере принести само стремление к ним в дар Богу и представляя его на суд настоятеля явить свое послушание. Сие, по его мнению, приносило пользу во многих отношениях: в том числе и в том, что он порой подвергался унижению со стороны других, кто дивился его просьбам и полагал, будто он совершенно не знает меры своих сил.

Богу же было угодно, чтобы порой ему позволяли то, чему все изумлялись. Однажды некто весьма серьезно спросил его, как возможно, что он, будучи довольно умен, тем не менее пренебрегает советами отцов весьма благочестивых и авторитетных, которые чрезвычайно часто убеждали его оставить чрезмерную суровость покаяния и крайнее умственное напряжение в делах духовных? Алоизий же ответил на это так: «Есть два рода людей, дающих мне сии советы. Одни ведут жизнь столь святую и совершенную, что я не вижу в них ничего, что не казалось бы мне достойным подражания; и не раз я имел намерение последовать их советам. Но видя затем, что сами они не соблюдают сей

умеренности в отношении себя, я рассудил, что лучше подражать их делам, нежели следовать их советам, каковые они дают мне по неизъяснимой любви и из искреннего сострадания. Другие же — это те, которые и сами следуют советам, кои дают мне, и не особенно преданы покаянным трудам; но я полагаю, что лучше подражать делам и примерам первых, нежели следовать советам вторых».

Приводил святой и иное оправдание своему поведению: он весьма опасался, что человеческое естество без упражнения в покаянии и умерщвлении не сможет долго пребывать в благом устройении и постепенно вернется к прежнему состоянию, утратив приобретенный за многие годы навык к страданию. Алоизий частенько говаривал, что он — лишь «кривое железо» и пришел в Орден для того, чтобы его распрямили молотом умерщвлений и покаяния.

Тем же, кто утверждал, будто совершенство заключается лишь во внутреннем делании и что должно более прилежать обузданию воли, нежели плоти, Алоизий отвечал словами Спасителя: «*Haec facere, et illa non omittere*», то есть «Сие делать, и того не оставлять» (ср. Вульг. Мф 23:23). Он был убежден, что надлежит сочетать и то, и другое, как обычно и поступали древние святые, а равно и первые отцы нашего Ордена, и прежде всего святой отец наш Игнатий. Сей муж весьма прилежал покаянию и крайне сурово обходился со своим телом, как о том можно прочесть в его житии.

Более того, св. Игнатий оставил в Конституциях предписание, согласно которому профессорам и коадьюторам¹ Общества не вменяются в обязанность бдения, посты, бичевания, молитвы и некоторые иные покаянные труды; сие установлено по той лишь причине, что от подобных иноков ожидается столь высокая степень совершенства и такое рвение, что им скорее потребуются узды, нежели шпоры (ведь они и сами заметят, как телесные труды споспешествуют делам духа).

Алоизий добавлял также, что время для совершения покаянных подвигов — пока человек молод и полон телесных сил. Ибо в старости приходят недуги, не оставляющие сил для подобных трудов; ведь и святые к концу жизни и в преклонных летах, по мере того как возрастали в умном делании, обычно умягчали телесные подвиги, хотя никогда не оставляли их вовсе.

Всякий раз, когда настоятель отказывал ему в каком-либо подвиге, Алоизий старался возместить его иным духовным упражнением: прочтением ли главы из Жерсона², посещением ли Пресвятых Тайн или чем-то подобным. И во всяком положении — стоял ли он, сидел или шел — святой не упускал случая причинить себе хоть малейшее неудобство, дабы тем смирить плоть.

Когда же настоятели, видя его телесную немощь, запрещали ему власяницы, бичевания и внеочередные посты, Алоизий старался находить такие способы умерщвления плоти, которые не шли бы вразрез с их волей и не вредили бы здоровью: например, просил дозволения говорить «тоны» (то есть учебные проповеди, что произносятся прилюдно)³ на испанском языке, надеясь, что слушатели станут над ним смеяться; и эта его просьба была исполнена.

О его покаянных трудах и суровых подвигах довольно сказать лишь то, что творил он их столь часто и с таким малым попечением о здоровье, что многие высказывали опасение, не станет ли он в смертный час терзаться сомнениями, что слишком жестоко обходился со своим телом? Полагали даже, что за подобное «безрассудство» ему придется нести

наказание в чистилище. Однако на такие сомнения он ответил во время последней болезни, о чем мы поведаем в своем месте.

В укрощении страстей ему не требовалось особого усердия, ибо он настолько усмирил их, что они, казалось, и вовсе исчезли. Всё его внимание было обращено на испытание внутренних движений души; и когда он подмечал за собой какой-либо промах, то не предавался чрезмерной печали, но тотчас смирялся пред Господом, испрашивал прощения у божественного милосердия и, положив в сердце своем исповедаться в проступке, более не смущался духом.

Этому он научился у вышеупомянутого наставника новициев, который говаривал: «Если кто впадает в прегрешение, то лучшее средство, угодное Богу и посрамляющее беса, — тотчас смириться пред очами Божиими и вознести сердце к небу с такими или подобными словами: „Господи, видишь ли, сколь я хрупок и никчем! Как легко я падаю! Прости меня, Господи, и даруй благодать более не согрешать“. Сотворив таковую молитву, надлежит успокоиться».

Алоизий неизменно следовал сему правилу, замечая притом, что чрезмерное сокрушение — признак того, что человек плохо знает самого себя. Ведь знающий себя понимает, что сад души его по природе своей обилен терниями и сорняками. С великим радением он доискивался до самых истоков помыслов и желаний, стремясь увидеть, нет ли в них греха; и не знал покоя, пока не открывал истину, дабы исповедаться во всей полноте. Исповеди его были ясны, кратки и лишены всякой мнительности. Кардинал Роберт Беллармин, его исповедник, свидетельствовал, что Алоизий с такой отчетливостью описывал, до какого предела дошел тот или иной помысл или желание, словно видел их перед собою плотскими очами — столь просвещен был его взор в понимании своей внутренней жизни.

Он горячо желал, чтобы его всенародно обличали в недостатках, и сам подавал начальствующим списки своих изъязов. Но заметив, что вместо порицания его хвалят, почитая за добродетели то, что сам он считал пороком, Алоизий со временем перестал просить об этом, говоря, что от такого упражнения для него больше вреда, нежели пользы.

¹ Профессы и коадьюторы — высшие разряды членов Общества Иисусова, принесшие торжественные, или «последние» обеты.

² Жан Жерсон — в XVI веке ему традиционно приписывали авторство книги «О подражании Христу», ныне большинством относимой к Фоме Кемпийскому.

³ "Топі" (тоны) в практике иезуитов XVI в. представляли собой специальные риторические упражнения — короткие, заранее подготовленные речи или отрывки, предназначенные для отработки навыков ораторского искусства. Эти упражнения были ориентированы на развитие умения убеждать аудиторию и эмоционально воздействовать на слушателей, что было ключевым для миссионерской и проповеднической деятельности ордена. Топі произносились в иезуитских общинах и коллегиях, часто во время общих трапез, с последующей обратной связью от слушателей. Это способствовало формированию навыков публичных выступлений. В классической риторике (Цицерон, Квинтилиан) «тон» был не просто звуком, а способом подачи речи, соответствующим её цели — убеждению, поучению или развлечению. Иезуиты заимствовали эту идею, превратив «тоны» в

готовые текстовые шаблоны, которые требовали разной интонации и стиля исполнения. Подобно тому как в церковной музыке существовали строго определенные церковные тоны (лады) для песнопений, иезуитские toni служили каноническими формами для речевых упражнений. Студент должен был «попасть в тон», то есть точно воспроизвести заданный стиль (высокий, средний или низкий). Термин «тон» служил классификации речей по их эмоциональной и стилистической «высоте». Например, «высокий тон» использовался для торжественных проповедей, а «низкий» — для повседневных наставлений.

ГЛАВА XVII. О том, как высоко он ценил «Духовные упражнения» святого Игнатия

Алоизий весьма высоко ценил «Духовные упражнения» святого отца нашего Игнатия, видя в них не только превосходное средство для обращения душ от греха к жизни праведной, но и действенное орудие для возгревания ревности и обновления духа в людях иноческого звания. Ежегодно во время перерыва в занятиях он испрашивал дозволения удалиться на несколько дней для совершения этих Упражнений.

Они разделены на четыре седмицы, и он составил на латыни несколько изречений и наставлений к каждой, сообразно предметам размышлений и той цели, которой посредством их чают достичь. Но поскольку духовные его записи были изъяты тотчас после его кончины, мне удалось получить лишь то, что он начертал касательно первой седмицы. Его рассуждение таково:

К УПРАЖНЕНИЯМ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ¹

Суды Божию непостижимы (ср. Рим 11:33). Кто ведает, простил ли мне Господь донныне мои мирские беззакония?

Столпы небес пали и сокрушились (ср. Иов 26:11). Кто поручится мне в моем постоянстве?

Мир ныне во зле лежит (ср. 1 Ин 5:19). Кто умилоstit разгневанного Вседержителя?

Многие иноки и клирики забывают о своем призвании. Доколе Господь будет терпеть столь великий урон Своему Царствию?

Верующие, будучи в течение всей жизни весьма теплохладны, как бы лишают Бога славы Его; и кто восстановит её?

Горе мирянам, кои откладывают покаяние до смертного часа! Горе и инокам, кои проспали до того же часа!

Сими как бы пробуждающими восклицаниями должно стряхнуть сонливость и обновить обет покаяния, дабы праведно и непоколебимо служить Богу.

Истинное покаяние рождается в великой скорби от осознания того, как я пренебрегал бесконечно любящим Богом и как обесчестил Его.

Оно заставляет столь горько оплакивать грехи тяжкие, что пробуждает величайшее сокрушение даже о всяком проступке легком.

Оно доходит до того, что душа не только познает и чтит милосердие Божие, отпускаящее вину, но к чести Божественного правосудия пламенно желает претерпеть все справедливые кары за свои грехи.

Благодаря сему Бог изливает в души благорасположенные великую ненависть к самим себе, силою коей пробуждается и укрепляется решимость сурово карать себя покаянными подвигами, в том числе и внешними.

Хвала Богу!

¹ В оригинале записка целиком на латыни.

ГЛАВА XVIII. О его любви к Богу и к ближнему

Алоизий пламенел великой любовью к Богу; и когда в его присутствии говорили о Господе, столь глубоко умилялся, что это всякий раз отражалось на его лице — во всяком месте и в любое время.

А его любовь к ближним была нескрываема, и из-за нее он часто устремлялся в больницы, дабы служить недужным: оправлял им постели, подавал пищу, омывал ноги, подметал в палатах и призывал страждущих к терпению и исповеди. Вступив в Орден, он испросил общее дозволение ежедневно навещать болящих насельников обители, и не было среди иноков никого усерднее и прилежнее в этом человеколюбивом занятии. Он навещал всех без исключения, причем не только утешал их беседами: когда начальствующие по причине его головных болей возбранили ему учиться, он пошел к больничным служителям и помогал им чистить ножи и ложки, накрывать на столы и исполнять иные работы на пользу больных и выздоравливающих.

Но он пекся не только о телах; несравненно более старался он помогать душам, ибо имел величайшее радение об их спасении. Если бы настоятели сочли то нужным, он охотно отправился бы в Индии ради обращения язычников; об этом он горячо мечтал и в миру, и в Ордене.

В пору учебы Алоизия нельзя было определить на душпастырские труды (которые подобают лишь священникам, окончившим курс наук), и поэтому всё своё усердие он обращал на духовное преуспеяние собратьев по Ордену, содействуя им со всей дарованной Богом мудростью и прилагая к тому многие старания.

Алоизий не ограничивался лишь тем, что назидал окружающих примером своей безупречной жизни. Он спросил ректора коллегии, не сочтет ли тот полезным, если он приложит старания к тому, чтобы в часы отдыха — и утреннего, и вечернего — беседы всегда касались предметов духовных. Он хотел бы, чтобы пресекались разговоры не только о вещах праздных и бесполезных (каковые и так не дозволялись), но и о делах житейских или о науках. Получив на то соизволение, он поведал о своем желании префекту духовных дел (кем в ту пору был о. Джироламо Убальдини, в прошлом видный римский прелат, вступивший в Общество, где жил и почил в святости), попросил отца содействовать сему начинанию, а тот горячо вверил это дело Богу.

Затем, приметив в коллегии нескольких преуспевших в духовной жизни юношей, кои казались ему наиболее способными к достижению упомянутой цели, он признался им,

что ради собственного преуспеяния нуждается в их помощи и хотел бы порой собираться с ними вместе для бесед о Боге во время отдыха. Сверх того он ежедневно по полчаса читал какую-либо духовную книгу или жития святых, дабы иметь пищу для разговора. Вместе с помянутыми сотоварищами он положил начало этому обычаю. Когда он находился среди младших, то первым заводил святые беседы, и другие с великим удовольствием внимали ему, ибо из речей его извлекали немалую пользу.

При общении со священниками и старшими братьями он обыкновенно предлагал им разрешить то или иное духовное сомнение; испрашивая их мнения якобы из желания поучиться, он тем самым искусно обращал беседу к предметам божественным. Они и сами, едва завидев его приближение, понимали, что Алоизию не угодны иные речи, и охотно уступали его желанию. Даже будучи его начальниками, они оставляли начатый разговор и меняли тему, лишь бы доставить ему радость.

Если в коллегии для продолжения наук прибывал новый брат — из новициата или из иных мест, — Алоизий всячески старался помочь ему сохранить дух и рвение, с которыми тот пришел. Действовал он при этом либо сам, либо через тех, кто прежде проходил новициат вместе с новоприбывшим. В самом начале пребывания нового брата в коллегии Алоизий вступал с ним в беседу во время отдыха и уверенно говорил ему, что, если тот желает и дальше преуспевать в благочестии, то найдет здесь многих, кто сможет ему в этом помочь. Пока новичок не узнал всех сам, Алоизий называл ему пять-шесть самых ревностных братьев, а затем тайно просил их искать случая пообщаться с новоприбывшим. И таким образом этот его благочестивый замысел всегда увенчивался успехом.

Более того, если Алоизий замечал, что кто-то в коллегии нуждается в духовной поддержке, он всеми силами стремился завоевать расположение этого брата. В течение многих дней и недель, утром и вечером, он проводил с ним часы отдыха в беседах, нимало не заботясь, что могут подумать окружающие.

Когда же он видел, что в человеке пробудились те крупницы добродетели и совершенства, каковые он желал увидеть, Алоизий начинал постепенно отдаляться. Он объяснял это тем, что ради общего назидания ему подобает быть более открытым для общения со всеми. При этом он советовал брату найти себе добрых спутников и называл имена конкретных лиц; затем же он шел к тем братьям и просил их почаще беседовать с этим человеком, зная о его благих устремлениях. Так, оставив одного, он принимался за другого.

Благодаря этим святым уловкам он за считанные недели помог многим и возжег пламя даже в самых остывших душах. Всё Римское училище преисполнилось такого рвения и благочестия, что в этом нельзя было не увидеть благословения Божия. В ту пору в коллегии проживало более двухсот человек; я помню, как не раз летними вечерами в часы отдыха наблюдал за ними всеми: братья группами по двое, по трое или по четверо прогуливались в галереях или саду. Зная их всех лично, я мог с уверенностью сказать, что не было среди них ни единого кружка, где не говорили бы о Господе.

Время отдыха превращалось в некую духовную беседу, от которой многие, по их признанию, получали не меньше пользы, а зачастую и больше, чем от самого молитвенного правила. Ведь они простодушно делились друг с другом духовными чувствами, коими Бог наделял их в молитве, и прозрения каждого становились общим достоянием.

Всё это совершалось с такой кротостью и доброжелательством, что если по какой-то случайности за время отдыха не удавалось поговорить о Боге, каждый возвращался в свою келью с тягостным чувством и досадой. Те же беседы вели и на прогулках по городу, и в дни каникул на загородной вилле. Казалось, для тех юношей не было веселее забавы и лучше отдохновения, чем собраться вместе ради разговора о Боге и предметах небесных.

Во время больших каникул в сентябре и октябре, когда все занятия прекращаются, юношей из Римской коллегии на несколько дней отправляют в Фраскати, дабы те могли восстановить силы после учебных трудов. С дозволения настоятелей они брали с собою книги: кто Жерсона, кто — жития св. Франциска, св. Екатерины Сиенской или святого отца нашего Игнатия.

Некоторые читали «Хроники» свв. Доминика или Франциска. Иные находили вкус в «Исповеди» и «Монологам» св. Августина, другие же — в «Толковании на Песнь Песней» св. Бернарда. Те, кто уже преуспел в духовной жизни, с немалым удовольствием читали житие св. Екатерины Генуэзской; иные же, склонные к самоуничижению, выбирали писания блаженных Якопоне и Иоанна Коломбино.

Напитавшись чтением этих и подобных им книг, они выходили поутру и ввечеру группами по двое или по трое прогуляться по холмам, пересказывая друг другу прочитанное. Случалось, что в тех лесах и рощах сходились вместе по десять или двенадцать человек; тогда они останавливались и вели духовные беседы с такой сладостью и благоговением, с таким ликованием и жаром, что казались сущими ангелами райскими.

Поэтому от отдыха в Фраскати душа набиралась сил не меньше, чем тело; и каждый служил для другого примером и побуждением на пути Божиим.

Свидетелями всего этого являются многие отцы и братья Общества, которые сами это видели и вкусили (ср. Пс 33:9). Ныне они трудятся в разных частях света, принося плод в винограднике Господнем.

Поскольку Алоизий был главным зачинателем всех этих перемен, все любили его и искренне им восхищались. Братья повсюду следовали за ним, желая поговорить с ним или послушать его; если же им это не удавалось, они огорчались, словно лишились доступа к святине или к тому, что крайне полезно для их преуспеяния и спасения.

Более же всего делало его любезным в глазах каждого то, что он не держал лук свой вечно натянутым, не давая ему ни на миг ослабнуть; напротив, он мудро и рассудительно сообразовывался с местом, временем и людьми, сохраняя кротость духа. И хотя в делах своих он был неизменно серьезен, в общении не был ни угрюм, ни докучлив, но со всеми держался мягко, любезно и обходительно. Порой он мог вернуть острое и меткое словцо или пересказать поучительную историю, дабы повеселить собратьев, не преступая, впрочем, границ иноческой скромности.

Такова была жизнь Алоизия в первые два с половиной года его пребывания в Римской коллегии, и таковы плоды, что она принесла.

ГЛАВА XIX. О том, как Алоизия послали в родные края улаживать страшные раздоры между герцогом Мантуи и маркизом, его братом

После кончины в Мантуе синьора Орацио Гонзага, владельца Сольферино, этот феодал должен был по закону перейти к его племяннику, маркизу Родольфо. Однако покойный оставил завещание, в котором объявил наследником светлейшего герцога Мантуи, и Его Высочество поспешил вступить во владение этими землями.

По этому случаю маркиза Кастильоне, донна Марта, отправилась в Прагу. Оставив управление Кастильоне на Родольфо, она взяла с собой троих младших сыновей, старшим из которых был нынешний маркиз Франческо. Хотя ему тогда было не более девяти лет, он произнес перед Императором столь длинную и изящную речь, что снискал особое благоволение Его Величества. Государь даже просил маркизу оставить мальчика при дворе пажом, на что она согласилась.

Его Величество отправил имперского комиссара, дабы тот управлял спорными землями от его имени до вынесения окончательного решения. Вскоре дело было рассмотрено, и суд постановил передать феодал маркизу Родольфо как ближайшему родственнику. Тем временем, однако, нашлись адские прислужники, которые своими коварными наветами стали разжигать пламя раздора. Они старались устроить так, чтобы былая великая любовь между родственниками обернулась лютой ненавистью.

Взаимные обиды и подозрения множились столь быстро, что тяжба о Сольферино, поначалу бывшая делом сугубо гражданским, со временем стала лишь малым поводом в череде их споров. Обвинения в адрес маркиза Родольфо становились с каждым разом тяжелее, и все опасались, что дело кончится большой бедой. И хотя многие высокие особы, в том числе светлейший эрцгерцог Фердинанд (брат императора Максимилиана), пытались примирить враждующих, все их старания оказались напрасными.

Наконец Мадам Элеонора Австрийская, мать герцога Винченцо, и маркиза донна Марта, мать маркиза Родольфо, видя, что дела принимают скверный оборот, и желая восстановить мир и пресечь повод к соблазнам, рассудили, что нет лучшего посредника для их примирения, нежели Алоизий. Они знали, сколь преданно любит его герцог и какой неоспоримый авторитет имеет он в глазах брата, маркиза, обязанного ему своим владением. Посему они сочли за благ, не извещая о том своих сыновей, обратиться за помощью к нему в Рим.

Алоизий поначалу не выказал никакой склонности вмешиваться в подобные распри, опасаясь лишиться душевного покоя и нарушить строгость монашеского благочиния. Однако, вверив сие дело Богу и попросив сотоварищей о том же, он обратился за советом к своему исповеднику, о. Роберту Беллармину. Тот же, сотворив молитву, сказал ему такие слова: «Алоизий, ступай, ибо полагаю я, что этим ты послужишь Господу».

Его слова святой принял как небесное прорицание; он тотчас пришел в состояние совершенного святого безразличия и положил исполнить всё, что Отец Генерал вменит ему в обязанность. Между тем, эрцгерцогиня Элеонора, узнав о первоначальных сомнениях Алоизия и понимая, что он единственное после Бога средство предотвратить грозящие беды и что такой акт любви ради примирения родственников отнюдь не противоречит монашескому уставу, обратилась к настоятелям Алоизия с просьбой отправить его в Мантую. Просьба её была исполнена, о чем повествуется и в «Житии» сей государыни.

Алоизий завершил уже второй год курса богословия и вместе со многими другими братьями находился во Фраскати на сентябрьских каникулах. Именно туда прибыл отец Беллармин с поручением от Отца Генерала: юноше надлежало немедленно вернуться в Рим,

дабы оттуда как можно скорее выехать в Мантую и Кастильоне. Алоизий не промедлил и четверти часа, а тотчас пустился в путь, оставив всех нас в глубокой печали — нам горько было на многие месяцы лишиться его общества и тех плодов, которые приносил нам пример его благочестия.

Мы все проводили его за ворота загородного дома коллегии. На обратном пути о. Роберт Беллармин с большой теплотой рассказывал о добродетелях этого юноши и его набожности, поведав нам о многом, что пробудило в наших душах живое благоговение. Тогда же он особо отметил, что, по его глубокому убеждению, Алоизий «утвержден в благодати». Сверх того, отец присовокупил: «Ничто не помогает мне столь живо представить жизнь юного св. Фомы Аквинского, как пример нашего Алоизия». Эти слова слышали и запомнили многие из нас; позже они были внесены в официальные акты свидетельских показаний для процесса канонизации.

Прибыв в Рим и получив от Отца Генерала повеление отправляться в путь, Алоизий первым делом отправился проститься с кардиналами, своими родственниками. Находясь в покоях кардинала делла Ровере, он от великой слабости и крайнего телесного изнурения лишился чувств; его уложили отдохнуть на постель господина кардинала. Тот принялся укорять юношу за столь суровое умерщвление плоти, принесшее измождение, убеждая его бережнее относиться к своему здоровью. Алоизий же отвечал, что еще и малой доли не исполнил из того, что обязан делать.

Ему назначили в спутники брата-коадьютора, мужа весьма рассудительного, которому настоятели строго-настроено поручили заботиться об Алоизии; самому же юноше было велено во всём, что касается здоровья, полагаться на волю сотоварища.

О. Лодовико Корбинелли, муж почтенный и великий благотворитель Римской коллегии, зная, сколь сильно страдает Алоизий от головных болей, всячески убеждал его взять с собой зонтик от солнца; однако святой так и не согласился.

В утро отъезда ему принесли в келью пару сапог, которые прежде принадлежали некоему знатному господину. Когда он собрался их надеть, кто-то заметил: «Эти сапоги принадлежали такому-то синьору».

Услышав это, Алоизий выказал явное неудовольствие: опасение у него вызвало, не из-за знатности ли прежнего владельца их дали именно ему. Юноша долго и пристально их разглядывал, ища предлога, чтобы от них отказаться. Спутник его, заметив это, спросил: «Что не так с этими сапогами? Плохо сидят?» Алоизий промолчал, и тогда брат добавил: «Давайте снимем, я поищу другую пару, что будет вам впору». Унеся сапоги в кладовую с дорожным снаряжением, он, не меняя их, лишь иначе сложил голенища и, вернувшись, молвил: «Примерьте-ка вот эти, быть может, они лучше подойдут». Алоизий, не узнав их, обулся и сказал: «Мне кажется, эти будут в самый раз», — и так и отправился в них в путь.

Алоизий покинул Рим 12 сентября 1589 года в сопровождении о. Бернардино Медичи, своего близкого знакомого, который направлялся в Милан для чтения лекций по Священному Писанию. Всё время пути он ни разу не оставил обычных своих молитв, испытания совести, литаний и дел благочестия; на постоянных же дворах и в дороге он не вел иных речей, кроме как о предметах божественных и духовных.

Удивительно было видеть, с каким почтением и набожностью внимали ему извозчики: они открывали ему всё своё сердце и не желали отходить от него ни на шаг, являя

великое благоговение перед его особой, — а ведь подобное редко встретишь среди людей такого рода.

В Сиене он решительно воспротивился чрезмерным знакам внимания, которые, по его мнению, преступали границы обычного иноческого благочиния. Он полагал, что это почтение выказывалось ему либо ради его былой мирской знатности, либо по причине излишней привязанности одного из отцов к его особе. Вечером он не позволил ни этому отцу, ни кому-либо другому вымыть себе ноги, как то обычно заведено в Обществе по отношению к странствующим братьям, прибывающим в коллегии. Более того, он признался своему спутнику, что ему не по душе особое расположение того отца и его избыточная предупредительность.

Алоизий с радостью вновь увидел Флоренцию — колыбель его первых духовных порывов и благочестия. Расставшись там с о. Бернардино Медичи (которого на несколько дней задержали знатные родственники из дома Медичи), он проследовал в Болонью. Едва он прибыл туда, его окружили отцы местной коллегии, уже наслышанные о его благочестии, а он тотчас вступил с ними в беседы о Боге.

В Болонье он задержался на один день. Когда ректор послал его вместе с ризничим осмотреть город, Алоизий, выходя из коллегии, просил спутника провести его лишь по храмам и иным святым местам, ибо всё остальное его ничуть не занимало. Ризничий показал ему две или три самые чтимые церкви, после чего они вернулись домой.

Прибыв на постоялый двор между Болоньей и Мантуей, на землях Феррары, они получили от хозяина лишь одну комнату с единственной постелью. Спутник Алоизия, отведя трактирщика в сторону, заметил, что они иноки, а у них не заведено спать вдвоем, и потому просил дать еще одну кровать. Хозяин же наотрез отказался, заявив, что бережет оставшиеся места для знатных господ, что могут приехать к вечеру. Брат начал горячиться, настаивая на своем, но Алоизий, слыша это, велел ему успокоиться.

Спутник возразил: «Этот человек приберегает постели для дворян, словно мы простые крестьяне; а ведь к вам следовало бы проявить хоть каплю почтения!» Тогда Алоизий с великим миролюбием и безмятежностью молвил: «Брат мой, не гневайтесь, ибо вы неправы. Мы принесли обет бедности; и раз он обходится с нами так, как приличествует нашему званию, нам не в чем и не должно его упрекать». Вечером же, поскольку более никто не приехал, спутник всё же получил желаемое.

Прибыв в Мантую, Алоизий первым делом навестил Мадам Элеонору Австрийскую, бывшую уже в преклонных летах. Благочестивая княгиня несказанно обрадовалась встрече; она с нежностью обняла его, и они долго беседовали.

Из Мантуи Алоизий известил о своем приезде маркиза Родольфо, и тот тотчас выслал за ним экипаж, дабы везти в Кастильоне. Святой не пожелал посылать вестника вперед, но, уже въехав в Кастильоне, попросил первого встречного сообщить господину маркизу о его прибытии. Тот же бегом пустился по улицам, повсюду разглашая славную весть; люди тут же прильнули к окнам, а великое множество народа высыпало из домов.

Все встречали его с необычайным благоговением и ликованием: звонили колокола, в крепости гремел праздничный пушечный салют, а люди на улицах падали на колени при его приближении — столь велика была слава его святости. От этих почестей Алоизий густо краснел. Маркиз спустился встретить его к подножию крепостных стен; и едва Алоизий вышел из кареты, один из вассалов пал на колени перед Родольфо, моля о

прощении за некий проступок и надеясь на заступничество прибывшего брата. Маркиз же ответил, что ради любви к о. Алоизию он всё прощает виновному.

Когда Алоизий вошел вместе с маркизом в крепость, придворные и слуги по старой памяти стали величать его «светлейшим господином» и «вашим сиятельством». От этих мирских титулов святой юноша всякий раз смущался и краснел. В Кастильоне он не застал госпожу маркизу, свою матушку: она находилась в другом своем имении, именуемом Сан-Мартино, что в двенадцати милях оттуда.

Ей тотчас послали весточку, и на следующий день она вернулась в Кастильоне с двумя младшими сыновьями. Остановившись в своем дворце, который стоял особняком и поодаль от резиденции маркиза, она послала в крепость известить Алоизия о своем приезде. Юноша вместе со своим спутником немедля отправился к ней.

Мать приняла его скорее как нечто священное, нежели как сына, не дерзнув ни обнять его, ни поцеловать, как то внушала ей материнская любовь; и хотя рядом не было никого, чье присутствие могло бы её стеснить, благоговение в ней победило нежность, и она встретила Алоизия на коленях, склонившись в глубоком почтении до самой земли. И в том нет ничего удивительного: ведь еще тогда, когда он жил в миру и был ребенком, она почитала его за святого и обычно называла «своим ангелом».

ГЛАВА XX. Каково было житие Алоизия в Кастильоне и других местах

Весь тот первый день Алоизий провел с матерью. Пока они вели долгие беседы о делах минувших, он настаивал, чтобы его спутник неизменно присутствовал при них. Однако брат-сотоварищ, заметив, что его присутствие стесняет госпожу маркизу и она не решается открыто обсуждать дела с сыном, нашел предлог и вышел, якобы прочесть розарий. Вернувшись спустя долгое время, он застал обоих на коленях в молитве.

Вечером, удалившись в свои покои, Алоизий спросил спутника, по какой причине тот ушел. Брат же отвечал, что, поскольку маркиза исходатайствовала у Отца Генерала приезд сына из такой дали, он не счел вправе мешать ей без помех излить Алоизию душу. Он добавил, что если бы речь шла о беседах с иными дамами, он охотно исполнил бы волю Алоизия и остался бы рядом, но с матерью юноше подобает говорить наедине. Эти слова успокоили святого.

Алоизий оставался в Кастильоне несколько дней, дабы вдумчиво и подробно разузнать от маркиза и других лиц о делах и раздорах со светлейшим герцогом Мантуи. Невозможно описать, каким великим назиданием он служил для всех своим обликом и поступками. По городу он никогда не ездил, но всегда ходил лишь пешком, хотя мать и брат по старой памяти неизменно приказывали подавать ему карету. На улицах его приветствовали столь многие, что ему приходилось всё время идти с биреттой в руках.

Со всеми без исключения он держался с таким смирением, кротостью и покорностью, словно был последним среди них. Он наотрез отказывался принимать услуги от посторонних; если же в чем-то возникала нужда, обращался лишь к своему сотоварищу. Впрочем, и от него он принимал лишь самую необходимую помощь, и то лишь когда брат сам её предлагал или почти принуждал его к тому. О своих нуждах Алоизий никогда не просил, ожидая, когда Господь Сам внушит окружающим прийти ему на помощь. Он вовсе не намеревался останавливаться в доме матери и брата, а хотел поселиться у архипресвитера и уже предложил это своим настоятелям; однако те распорядились иначе, и он со смирением покорился.

Всё время пребывания в Кастильоне Алоизий соблюдал совершенную воздержанность во всём, никогда ничего не прося у домашних. Когда же настала зима, ударили холода и возникла потребность в теплой одежде, он наотрез отказался от того, чтобы родные шили ему новое платье, но вместе со спутником написал о своей нужде отцу-ректору в Брешию. Тот прислал им дзимарры и иное необходимое платье, впрочем, уже поношенное, ибо новых вещей святой не желал.

Госпожа маркиза прилагала все усилия, дабы убедить его принять хотя бы две мантуанские сорочки — одну для себя, другую для сотоварища. Не сумев вымолить согласия у сына, который твердил, что не желает более иметь ничего из того, от чего столь охотно отрекся, покидая мир, она просила спутника убедить Алоизия.

Однажды утром, когда юноша собирался вставать, брат принес ему сорочку. Видя, что Алоизий противится, спутник молвил: «Примите это, ибо матушка ваша дает вам сию милостыню ради любви к Богу, и раз вы в ней нуждаетесь, я настаиваю, чтобы вы её приняли». С этими словами он сам начал облачать его; Алоизий же, слыша о милостыне и подчиняясь выраженной воле спутника, принял дар без лишних слов.

Точно так же, когда изнашивалось льняное белье, выданное ему еще в Римской коллегии, Алоизий не пожелал взять новое, которое мать с любовью пошила для него собственноручно. Он велел чинить старое; и лишь когда спутник указал на крайнюю нужду и вновь под видом милостыни настоял на своем, святой наконец принял самую малую часть предложенного.

Алоизий никогда не отдавал приказаний ни домашним, ни посторонним. Он держался в родном доме с таким почтением, с каким держался бы бедный странник, принятый на ночлег ради любви к Богу. Когда ему случалось вести дела с маркизом, своим братом, он смиренно дожидался аудиенции в прихожей, не желая, чтобы о нем докладывали в неподходящее время и тем отвлекали Родольфо от дел.

За столом маркиза он позволял прислуживать себе наравне с остальными гостями, храня безмолвие. В доме же матери он чувствовал себя вольнее, ибо знал, что она лишь ищет способа угодить ему. Там он просил ставить питье прямо на стол, как то заведено в Обществе, дабы не пользоваться услугами виночерпия. Он соблюдал строжайшее воздержание и был совершенно безразличен к качеству яств и вин; из-за многолетнего упражнения в умерщвлении плоти он почти утратил чувство вкуса. Когда мать говорила ему: «Отведайте, отец Алоизий, вот это блюдо — оно очень вкусно, а это еще лучше», — он из учтивости принимал предложенное, благодарил, но так и оставлял еду нетронутой.

Своему спутнику он признавался: «О, как хорошо в нашей обители! Скучная наша пища дает мне больше крепости, нежели все эти яства, что подают за здешними трапезами».

Святой никогда не позволял одевать или раздевать себя ни слугам, ни даже своему сотоварищу. На левой руке у него была «фонтанелла» (сиречь рана от медицинского прижигания), и он сам промывал и перевязывал её, не принимая ничьей помощи. Однажды спутник, видя, как он мучается, приблизился и коснулся его руки, желая помочь: «Сделайте вот так», — на что Алоизий тотчас возразил: «Не прикасайтесь ко мне». Столь он был целомудрен, да и не любил, когда другие делали за него то, что он мог исполнить сам.

В доме матери и, когда выдавался случай, в замке маркиза он сам застилал свою постель и охотно помогал сотоварищу убирать его ложе. И хотя придворные слуги, заметив это,

всячески старались его опередить, святой своим прилежанием неизменно оставлял их ни с чем. Он нимало не пекся о своем здоровье и сохранении сил; помыслы его были далеки от этого, и он вспоминал о нуждах тела лишь тогда, когда на то указывал его верный спутник.

Алоизий всем сердцем любил уединение, однако с матерью, в которой видел душу глубоко набожную, общался охотно, стремясь доставить ей духовное утешение. Каждое утро, едва воспрянув от сна, он проводил добрый час в сосредоточенной молитве, слушал мессу, ежедневно вычитывал Большой официий и розарий — порой вместе со своим спутником, чередуя с ним возгласы, подобно тому как поют псалмы в хоре.

Если в течение дня ему удавалось выкроить хотя бы немного времени, он говорил сотоварищу: «Брат мой, пойдем помолимся немного». Каждый вечер он на три часа удалялся для молитвы в одиночестве, а прежде чем отойти ко сну, читал литании и совершал испытание совести.

Исповедовался он у архипресвитера. Во всякий праздничный день он отправлялся слушать мессу и причащаться в главный храм свв. Назария и Цельсия, куда стекалось великое множество народа, дабы с благоговением и скорбью вновь увидеть своего господина, расставание с которым было для них столь горько. В первый же праздник церковь была настолько переполнена людьми, что Алоизию пришла мысль произнести проповедь и призвать всех жить в страхе Божием и чаще приступать к святым таинствам. Однако он не стал исполнять задуманное тотчас, решив сперва уладить дела своего брата и прежде всего послужить добрым примером в собственном доме.

Своему спутнику он никогда не сказал ни единого резкого слова и ни разу не выказал неудовольствия его поступками. Напротив, в беседах он всегда уступал его мнению и с необычайной легкостью сообразовал свой разум с суждениями брата, во всём повинаясь ему в том, что касалось здоровья. Спутник же не переставал дивиться его благочестию; он находил великую отраду в той искренности и простоте, которыми было отмечено каждое действие Алоизия. Он видел, что юноша нимало не печется о мирском, но совершенно его презирает, будучи воистину мертв для всякого тщеславия и светских условностей.

В то же время Алоизий совершил несколько поездок в Брешию, Мантую и иные места, куда призывали его дела; в пути же он чрез созерцание видимого мира неизменно возносился умом к Богу. Он подолгу и пространно беседовал со своим спутником о предметах божественных; и если брат, утомившись, выказывал желание помолчать или сменить тему, Алоизий оставался неотступен, ни за что не соглашаясь прерывать святыя размышлений.

Однажды ему довелось отправиться в Кагель-Гоффредо для переговоров со своим дядей, господином Альфонсо Гонзага, владельцем тех мест, чьим наследником Алоизий стал бы, не вступи он в Орден. Маркиз выделил ему нескольких слуг для сопровождения, и Алоизий, не желая перечить маркизу в его присутствии, принял их, однако, едва покинув Кастильоне, тотчас отослал всех обратно.

В пути возница сбился с дороги, и они прибыли в Кагель-Гоффредо лишь через два часа после захода солнца, когда городские ворота были уже заперты. Поскольку город этот был крепостью и ворот в столь поздний час обычно не отворяли, спутникам пришлось долго держать ответ перед стражей, подробно объясняя, кто они и с какими делами прибыли, а затем дожидаться, пока о том доложат самому государю.

Наконец спустя долгое время они услышали скрежет затворов; опустился подъемный мост, и навстречу им вышла толпа придворных упомянутого князя с зажженными факелами. При въезде же Алоизий увидел множество вооруженных солдат, которые выстроились шпалерами по обе стороны улицы, от самых ворот до княжеского дворца. Сам Альфонсо вышел встретить племянника и принял его с величайшим почетом и нескрываемой радостью. Проводив Алоизия в покои, убранные с королевским великолепием, и оставив его почивать на пышном ложе, дядя удалился.

Бедный Алоизий, видя столь великое к себе почтение в чрезвычайно богато украшенных комнатах, с горечью молвил своему сотоварищу: «О, брат мой, да поможет нам Бог нынешним вечером! Куда это мы попали за грехи наши? Посмотрите, что это за покои и что за постели! О, насколько лучше чувствовали бы мы себя в нагих стенах нашей обители и на наших бедных ложах, вдали от этих почестей и удобств!». И во все те дни, пока тянулись переговоры, он сгорал от нетерпения поскорее закончить их и уехать, не в силах более сносить столь великое к себе почтение.

На следующий день Алоизий вернулся в Кастильоне, где, подробно вникнув во все обстоятельства спора, вновь отправился в Мантую для переговоров со светлейшим герцогом. За те немногие дни и недели, которые он провел в местной коллегии Общества во время своих неоднократных посещений, он оставил по себе столь добрую память, что и по сей день тамошние отцы с восторгом рассказывают о его великой скромности и смирении, о его презрении к самому себе и том почтении, которое он неизменно выказывал окружающим. Их поражала его дивная зрелость нравов, сочетавшаяся с простотой души и искренностью в общении.

Он пребывал в постоянной отрешенности от всего плотского, и ум его находился в непрестанном возношении к Богу. Алоизий пребывал в столь глубоком единении с Его Божественным Величием, что ни единого слова не произносил и ни единого дела не совершал без памятования о присутствии Божиим. Когда отцы видели его, им казалось, что перед ними живой образец всех добродетелей; один его вид пробуждал в душах благочестие. Говаривали даже, что лик его сиял такой святостью, что в нем видели подлинное подобие святого кардинала Карла Борромео.

Ректором коллегии в Мантуе был в ту пору о. Просперо Малавольта, принятый в Общество еще святым отцом нашим Игнатием, основателем и главою нашим. Видя столь великое благочестие и зрелость сего юноши, он почел за благо в одну из пятниц поручить ему произнести назидательное слово перед всеми отцами коллегии. Подобное обычно дозволяется лишь настоятелям или наиболее опытным и почтенным священникам, и никогда — иноку, еще не принявшему сана.

Алоизий же, хотя и густо покраснел от смущения, из послушания принял поручение. Он произнес поучение о братской любви, взяв за основание слова Спасителя: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 15:12). Говорил он с такой силой духа и жаром, что все слушавшие исполнились глубокого умиления.

¹ В католической традиции того времени (особенно в Италии) это был почетный титул главы важного прихода или настоятеля соборной (коллегиальной) церкви.

ГЛАВА XXI. О благополучном исходе переговоров с его участием

Алоизий приступил к переговорам со светлейшим герцогом Мантуи; однако прежде чем вести дела с людьми земными, он уладил всё с Царем небесным, в Чьих руках человеческие сердца (ср. Притч 21:1), и в пламенной молитве испросил у Его Божественного Величества мирный исход. О том свидетельствуют многие достоверные очевидцы, да и само развитие событий подтвердило это со всей ясностью.

Во время первой же встречи с Его Высочеством Алоизий в беседе, длившейся полтора часа, разрешил все споры, уладил разногласия и добился всего, чего желал и о чем просил. А между тем герцог был крайне разгневан из-за тех дурных вестей, что доходили до него о маркизе. К тому же Алоизий, будучи ближайшим родственником Родольфо, по человеческому рассуждению мог вызвать подозрения в пристрастности; не было недостатка и в явных предложениях, дабы отказать ему в просьбах, ведь прежде Его Высочество уже отвечал отказом великим князьям и знатным вельможам, пытавшимся посредничать в этом примирении.

Однако герцог, узрев в Алоизии столь святой дух и столь чистое совершенство намерений, был совершенно покорен им и не смог ни в чем ему отказать. Уповая на его благодать и праведность, государь объявил, что готов исполнить всё по его усмотрению..

Нашлись, впрочем, люди, что пытались помешать этому примирению, столь угодному Богу, или по крайней мере оттянуть его. Среди прочих была одна весьма влиятельная особа, которая внушала герцогу, что раз уж Его Высочество решился на милость, то не стоит объявлять о ней лишь по настоянию Алоизия. Ему также советовали повременить с решением, дабы одновременно уважить других государей и удовлетворить их притязания, поскольку они прежде вели переговоры о том же. Герцог же отвечал, что желает покончить с вопросом немедленно, ибо всё совершаемое им ныне он делает единственно ради того, чтобы угодить о. Алоизию, и ни по каким иным соображениям он никогда бы на то не пошел. Таковые слова повергли всех в изумление.

Алоизий получил от синьора Туллио Петроццари письменный список всех обвинений и наветов, возведенных на маркиза Родольфо. Доставив их в Кастильоне, он убедил брата полностью оправдаться и подготовить ответы по каждому пункту, дабы удовлетворить светлейшего герцога. Затем святой лично представил эти ответы государю.

Увидев, что Его Высочество вполне удовлетворен, Алоизий вновь вернулся в Кастильоне и привез маркиза к герцогу. Тот принял родственника с искренним дружелюбием и любовью, оставив его у себя на обед и на совместный отдых в течение всего дня. Его Высочество настойчиво упрашивал и Алоизия остаться на трапезу, но тот ни в какую не соглашался принять приглашение и удалился в коллегия Общества. Когда же герцог сказал маркизу, что назавтра тот непременно должен привести брата на театральное представление, Алоизий с кроткой улыбкой заметил, что его спутнику сие отнюдь не придется по душе.

Тогда же герцог вернул и уступил маркизу замок и синьорию Сольферино, которыми с тех пор дом Гонзага владел неизменно, и поныне ими владеют наследники и братья св. Алоизия.

Уладив, к вящему назиданию и изумлению всех (ибо дело почитали безнадежным), спор маркиза с герцогом, Алоизий принялся устранять и другой громкий соблазн, виною коего был маркиз Родольфо. Сей последний пленился некоей девицей из доброго рода; отец её был весьма богат, но по положению своему далеко не равен маркизу. Однажды, когда она

была вне дома, Родольфо велел в закрытой карете отвезти её в свои загородные владения, в летний домик.

И хотя, с одной стороны, слепая юношеская страсть, соединенная с сознанием власти и безраздельным господством, толкнула его на эту крайность, с другой стороны — страх Божий и доброе воспитание возобладали в его сердце, и рассудил он, что не стоит удерживать её при себе, отягощая совесть и оскорбляя Господа. Поэтому он решил взять её в законные супруги, почитая за лучшее ущемить собственную честь и величие своего рода, нежели жить в смертном грехе под гневом Божиим, губя свою душу и бесчестя девицу.

Испросив у епископа дозволение на тайное венчание, он 25 октября 1588 года в присутствии архипресвитера Кастильоне и необходимых свидетелей вступил с нею в брак и с тех пор неизменно почитал её своей женой. Однако, опасаясь, как бы подобное родство не оскорбило его сородичей и в особенности дядю Альфонсо, брата его отца, чьи владения в Кастель-Гоффредо он должен был унаследовать, Родольфо хранил этот союз в глубокой тайне. О браке не ведала даже госпожа маркиза, его матушка.

Последняя, не зная правды, умоляла Алоизия употребить всё его великое влияние на брата (приобретенное и благодаря отказу от маркизата в его пользу, и по причине недавнего примирения с герцогом), дабы убедить Родольфо разорвать эту связь. Алоизий со всем жаром принялся увещевать маркиза. Тот же всячески старался уклониться от прямых ответов, то и дело давая обещания, но постоянно откладывая их исполнение.

Алоизий, понимая, что если дело не будет устроено в его присутствии, то впоследствии он ничего не добьется, настоял столь решительно, что маркиз дал твердое слово исполнить его волю. А поскольку Родольфо уже собирался отбыть в Милан, он обещал брату приехать туда, дабы обсудить, как именно это совершить, изъявив намерение во всём следовать его совету.

Получив твердое обещание брата, Алоизий 25 ноября 1589 года вернулся в Милан, где вновь предался обычным ученым занятиям и духовным упражнениям. В начале января маркиз Родольфо, верный своему слову, прибыл в Милан. Он явился в коллегия праздничным утром¹, как раз в то время, когда Алоизий после причастия возносил Богу благодарение на хорах.

Привратник тотчас поспешил известить юношу: «Господин маркиз — ваш брат — прибыл с большой свитой и не может ждать». Алоизий же, ничего не ответив, оставался недвижим на коленях еще около двух часов, не прерывая молитвы; и лишь окончив её, вышел к дверям встретить маркиза. Там Родольфо открыл ему всё как было, поведав о законных узах брака, которыми он уже был связан с упомянутой выше девицей.

Алоизий возрадовался, узнав, что брат его не живет в грехе, как все полагали, и что он искренне желает пребывать в благодати Божией, и сказал, что намерен обсудить этот случай с почтенными и учеными отцами, дабы уяснить, к чему Родольфо обязан по долгу совести. Маркиз охотно на то согласился.

Алоизий написал об этом деле в Рим и советовался с мужами в Милане. Многие сошлись во мнении, что маркиз обязан открыться, дабы устранить публичный соблазн, ведь все почитали его союз за незаконное сожителство. Алоизий с такой убедительностью изложил брату мнение ученых, что склонил его ко всему, чего желал от него добиться.

Святой также взял на себя заботу о том, чтобы умирить родственников, если те выкажут недовольство.

Утвердившись в этом решении, маркиз в Милане принес генеральную исповедь за всю свою жизнь и причастился. Затем, когда Родольфо вернулся в Кастильоне, Алоизий вновь последовал за ним вместе с новым сотоварищем. Прибыв туда около 20 февраля, он молвил, что посетил родные края дважды: в первый раз — дабы уладить дела мирские, во второй же — ради дел Божиих и церковных, имея в виду признание брака.

Он убедил маркиза открыть правду госпоже маркизе, их матушке, и иным близким, кого это касалось. Алоизий самолично объявил о браке народу, дабы пресечь пересуды, и увещевал брата обращаться с молодой супругой достойно и по-христиански.

Кроме того, он письменно известил об этом господина герцога Мантуи, двух кардиналов Гонзага, здравствовавших в ту пору, и прочих знатных родственников. Он просил их не гневаться на поступок маркиза, совершенный ради спасения души и восстановления чести девицы. От всех он получил ответы, согласные с его желанием. Особенно важно, что он добился одобрения и похвалы от своего дяди, господина Альфонсо. Именно поэтому после смерти Альфонсо Кастель-Гоффредо перешло к его наследникам (в роду маркизов Кастильоне), а позже нынешний маркиз Франческо обменял эту вотчину у светлейшего герцога Мантуи на синьорию Медоле, каковой ныне правит с неограниченной властью, поскольку Император включил и объединил её с маркизатом Кастильоне.

То, что о браке сем стало известно во всеуслышание, послужило к великой пользе: многие подданные, державшие сожительниц, последовали примеру государя и обвенчались. Тогда же Алоизий способствовал заключению многих иных важных мирных соглашений.

Госпожа маркиза, его матушка, упросила Алоизия произнести проповедь в храме. Посоветовавшись с сотоварищем, святой исполнил просьбу в субботу, выбрав для сего небольшую церковь Братства Бичующихся (*Compagnia della Disciplina*), что рядом с храмом св. Назария. И хотя он желал сохранить всё в строжайшей тайне и даже запретил звонить в колокола, храм оказался переполнен.

Он произнес прекрасное и исполненное благочестия поучение, в коем призвал всех прийти к святому причастию наутро — в воскресенье Пятидесятницы², последний день карнавала. Призыв его был встречен с таким воодушевлением, что священники и монахи были вынуждены всю ночь напролет исповедовать народ. Утром вместе с госпожой маркизой, самим маркизом и его супругой причастились еще семьсот человек, как мужчин, так и женщин. Алоизий попросился самолично прислуживать за мессой и подавать полоскание³ причастникам, к великому своему утешению и к вящему назиданию верных. После же обеда все вместе отправились на занятия по катехизису.

Уладив таким образом и дела отчего дома, и распри брата, Алоизий 22 марта 1590 года отбыл в Милан; за несколько дней до того, 9 марта, ему исполнилось двадцать два года. Поелику в Ломбардии в ту пору еще стояли великие холода, руки его так распухли и покрылись трещинами, что из них сочилась кровь. Сострадая ему, многие просили его и почти принуждали надеть в дорогу хотя бы перчатки или что-то подобное, но Алоизий, возлюбивший страдание и смирение, наотрез отказался от всякого облегчения.

Путь его в Милан лежал через Пьяченцу. Едва он прибыл в тамошнюю коллегию, один из отцов зашел к нему в келью, дабы поприветствовать и обнять его по обычаю Общества.

Застав Алоизия с тряпкой в руках за чисткой собственных сапог, отец этот исполнился глубочайшего внутреннего умиления и сокрушения. Его поразили и самый облик святости, сиявший во внешности юноши, и это смиренное занятие, ведь отец помнил Алоизия еще мирянином в Парме, когда того сопровождала толпа слуг.

Наконец Алоизий добрался до коллегии Общества в Милане. «О, сколь великое утешение, — молвил он, — окончательно вернуться под наш кров! Я чувствую то же, что чувствовал бы человек, который, промерзнув до костей среди лютой зимы, оказался бы вдруг в мягком и согретом ложе. Таковым холодом казалось мне пребывание вне наших обителей, и таковую сладость ощущаю я ныне, возвратившись в наш дом».

¹ В оригинальном итальянском тексте отец Чепари не называет конкретный праздник, используя оборот *una mattina di festa* («в праздничное утро» или «в утро праздника»). Однако, опираясь на хронологию событий (Алоизий вернулся в Милан 25 ноября 1589 года, а Родольфо прибыл в начале января» 1590-го) и комментарии к классическим изданиям Жития, можно с изрядной долей уверенности утверждать, что это был праздник Богоявления, который отмечается 6 января. Для Общества Иисуса это один из важнейших праздников: он посвящен поклонению волхвов и символизирует явление Христа языческим народам, что напрямую связано с миссионерским призванием ордена. Этим объясняется особая торжественность богослужения, после которого Алоизий оставался на хорах для долгого благодарения.

² Квинквагезима (лат. *Quinquagesima*) — в традиционном латинском обряде воскресенье перед Пепельной средой, знаменующее начало подготовки к Великому посту.

³ Полоскание (лат. *ablutio*) — в традиционном латинском обряде литургическое действие после причащения, когда причастнику подается чаша с водой или вином для ополаскивания рта.

ГЛАВА XXII. О том, сколь великим назиданием послужил он всем в Миланской коллегии в пору своего пребывания там

Как огонь никогда не перестает согревать, свет — освещать, а драгоценное благовоние — источать сладостный аромат, так и Алоизий не переставал воспалять сердца других своими вдохновенными речами, просвещать их примером своего благочестия и распространять благоухание многих добродетелей, таившихся в его душе, ведь во всякое время и на всяком месте он оставался верен самому себе.

И подобно тому как вода, долго сдерживаемая в своем естественном беге, прорывается затем с еще большим напором и силой, так и Алоизий, проведя несколько недель и месяцев в Кастильоне, где он не имел возможности предаваться обычным своим покаянным подвигам и умерщвлению плоти, по возвращении в коллегию Общества в Милане, казалось, не мог утолить жажды своего духа, вновь и вновь испрашивая дозволение на таковые умерщвления. Едва прибыв, он явился в трапезную в ветхом, изодранном платье, дабы прилюдно обвинить себя в нарушениях¹ и исполнить иные покаянные труды, послужившие всем великим назиданием.

Сам он радовался, наблюдая в коллегии строгое соблюдение устава и видя, что юношество прилежит к благочестию и иноческому совершенству столь же ревностно, как

и к изучению наук; братья же, со своей стороны, ликовали, обретя в нем живой образец всякого совершенства.

Я не смогу изложить в сей главе ряда отдельных подробностей его миланских трудов. Причиной тому отчасти стала кончина тех, кто мог бы дать о нем подробное свидетельство (в их числе о. Бартоломео Рекалькати, бывший в большой близости с Алоизием и преставившийся в звании ректора этой коллегии со славою святости). Кроме того, еще не начат официальный процесс канонизации, вести который вызвался светлейший архиепископ миланский, кардинал Федерико Борромео.

Посему я ограничусь лишь немногими сведениями, извлеченными из записей и материалов процессов того времени, а также теми свидетельствами, что по моей просьбе со всяким тщанием собрал нынешний отец ректор миланской коллегии.

Во время пребывания в Милане Алоизий продолжал изучение богословия, посещая утренние и вечерние лекции наравне с прочими студентами. Он ревностно исполнял все положенные учащимся упражнения, не желая для себя ни малейших привилегий или исключений. Сотоварищ по келье, находившийся при нем неотлучно, к великому своему назиданию примечал каждое движение святого, извлекая из того обильный духовный плод.

Когда Алоизию выдали для занятий «Сумму» св. Фомы Аквинского в прекрасном переплете, с позолотой на корешке и обрезе, он ни за что не соглашался её взять. Со слезами на глазах он умолял настоятеля забрать книгу и выдать ему взамен иную — старую и ветхую; он говорил об этом с таким жаром, что начальствующий был вынужден уступить, дабы утешить юношу. А поступал так святой из пламенного желания иметь лишь вещи, подобающие бедняку.

В свободное от наук время он с дозволения настоятеля помогал на кухне и в трапезной: носил воду повару, мыл горшки, котлы и иную посуду. Когда же ему выпадало накрывать столы в трапезной, он, чтобы пребывать в постоянном единении с Богом и исполнять предписанное послушание с большей пользой для души, давал столам особые имена. Тот, за которым ел настоятель, он именовал «Стол Господним»; соседний — «Стол Мадонны»; прочие же — столами апостолов, мучеников, исповедников и дев. Помогая трапезничему расстилать скатерти, он говаривал: «Пойдем накроем стол Господень или стол Мадонны», — и так далее о прочих. Он выполнял эту работу с таким воодушевлением и благоговением, словно и впрямь готовился прислуживать Христу, Господу нашему, Пресвятой Деве и святым, которым он в своем воображении накрывал трапезу.

Часы отдыха он проводил с великой радостью, выходя в город вместе с братьями-коадьюторами; делал он это как по глубокому смирению, так и потому, что в их обществе мог с большей непринужденностью беседовать о Боге. Оказывать каждому духовную помощь было для него истинной отрадой. Находясь в обществе, он, если была возможность сесть, неизменно занимал самое последнее или неудобное место, где нельзя было даже прислониться к стене; если же братья стояли кругом, он старался укрыться за спинами других, лишь внимая разговору. Во время прогулок он неизменно уступал спутнику почетную сторону. Было очевидно, что делал он это не из притворства или пустой вежливости, но по истинному и непринужденному смирению.

Однажды в коллегию пришел человек, бывший прежде его вассалом, чтобы хлопотать о нуждах маркизата. Алоизий же с великой любовью и смирением ответил ему, что он

«более не от мира сего» (ср. Ин 17:16) и не имеет более никакой власти ни над чем. Произнес он это с таким простодушием и кротостью, что проситель был совершенно ошеломлен и получил глубокое назидание.

Его отличала глубочайшая признательность за любую, даже самую малую услугу; казалось, он не мог престать благодарить, и делал это с великой простотой, в которой не было и тени притворства.

Однажды один из братьев спросил его, трудно ли знатному господину оставить суету мира сего? Алоизий же отвечал: «Это было бы совершенно невозможно, если бы Христос, Господь наш, не помазал очи такового человека брением, как некогда слепорожденному (ср. Ин 9:6); сиречь, если бы Он не явил ему ничтожность всех этих вещей, которые в действительности ниже и гнуснее всякой грязи».

В другой раз один из братьев той коллегии, придя к нему в великом смущении и тяжело вздыхая, просил духовной помощи, ибо сознавал себя весьма несовершенным. Алоизий же, желая утешить его, привел слова псалма: «*Imperfectum meum viderunt oculi tui, et in libro tuo omnes scribentur*» (Вульг. Пс 138:16: «Несовершенство мое видели очи Твои, и в книге Твоей все записаны»). И пояснил: «Хотя вид собственного несовершенства и дает нам повод к унынию, нас должно безмерно утешать размышление о том, что даже в таком несовершенном состоянии мы записаны в книге Божией. Господь взирает на наши немощи не для того, чтобы осудить нас, но дабы смирить нас и извлечь из них еще большее благо». Слова Писания, разъясненные им с великим воодушевлением и благоговением, принесли тому брату немалое утешение и придали мужества.

Алоизий явно искал подвигов самоуничтожения, попирающих мирскую честь, как внутри обители, так и за её стенами. Когда в дни карнавала некоторые братья-школяры отправлялись проповедовать на площади Милана, он с такой настойчивостью умолял отца ректора позволить ему сопровождать одного из них, что тот был вынужден уступить. Алоизий ходил по улицам, собирая народ и прося прохожих послушать поучение брата; притом в просьбах его было столько смирения, любви и скромности, что люди охотно следовали за ним.

По воскресным и праздничным дням он по собственному почину отправлялся на площади наставлять простой народ в христианском вероучении. И хотя он сильно страдал от холода, который в ту пору в Милане был весьма суров, не обращал на то никакого внимания.

Однажды вечером он услышал, что одному из братьев назавтра предстоит просить милостыню в городе — согласно принятому в Обществе обычаю проходить искус перед принесением обетов. Алоизий тотчас испросил дозволения стать его спутником; получив же согласие, он исполнился такой радости, что после вечернего испытания совести поспешил к кровати того брата, чтобы сообщить ему добрую новость. Назавтра, собирая подаяние, он обрел великое духовное утешение и часто с ликованием повторял в пути слова: «И Христос, Господь наш, точно так же просил милостыню».

В другой раз, когда он собирал милостыню, облаченный в ветхое, изорванное платье, его окликнула одна знатная дама, чей облик выдавал в ней крайнюю приверженность мирской суете. Она спросила, не из тех ли он отцов, что живут в Санта-Мария-ди-Брера, ибо знала одного из тамошних священников. Услышав утвердительный ответ, дама воскликнула: «Бедный отец! И зачем он себя похоронил!»². Эти слова дали Алоизию повод просветить её и избавить от заблуждения. Он с великим воодушевлением возразил

ей, что «отец» счастлив, а вовсе не достоин жалости, ибо пребывает на пути жизни совершенной, а не смерти, как она полагала. И добавил, что, напротив, она сама пребывает в жалком и плачевном мирском состоянии и находится в опасности вечной смерти, особенно же по причине своей приверженности суете, о которой столь явно свидетельствует её внешний облик. Слова эти пробудили в женщине глубокое сокрушение и послужили началом совершенной перемены её жизни, как то стало очевидно впоследствии.

В той коллегии Алоизий взял на себя заботу обметать паутину и исполнял это послушание с величайшим тщанием. Более того, он зорко примечал, не прогуливается ли внизу в галереях какой-нибудь сенатор или иное знатное лицо; едва завидев их, тотчас являлся со своим длинным шестом, на конце коего был закреплен веник, и принимался чистить стены в их присутствии. Делал он это ради того, чтобы знатные мужи почитали его за человека ничтожного и ни к чему не пригодного. Поступал он так столь часто, что отцы коллегии, завидев Алоизия с шестом в руках, тотчас догадывались, что в доме находится какой-то именитый гость.

Однажды, когда несколько епископов и прелатов прибыли в коллегию на обед, настоятель велел Алоизию произнести в это утро проповедь в трапезной, желая, дабы высокие гости могли познакомиться с юношей. Алоизий охотно уклонился бы от этого бремени, ибо не любил выставляться напоказ, предпочитая пребывать в безвестности, однако, не смея противиться велению послушания, взялся исполнить поручение. Проповедь он произнес прекрасную: основательную и ученую речь о долге епископском. Когда же позже один из братьев стал поздравлять его с успехом этого прекрасного поучения, Алоизий отвечал, что наибольшую радость в то утро доставило ему то, что он «принародно обнаружил свое косноязычие», ибо он не мог чисто выговаривать букву «р».

Он часто просил, чтобы его прилюдно обличали в недостатках во время трапезы; в Римской коллегии он на время оставил это обыкновение, ибо там вместо порицания его лишь хвалили. Из-за того, что ум его был постоянно погружен в Бога, случалось, что он не замечал приветствий окружающих; и когда в одном из таких публичных выговоров³ ему указали на это, Алоизий смиренно обвинил себя в великой гордыне. С тех пор в Милане он выказывал в этом величайшую внимательность, понуждая себя пребывать в единении с Богом так, чтобы не пренебрегать и малым человеческим долгом вежливости.

Для всей коллегии он был несравненным образцом смирения, скромности, послушания и строгого соблюдения устава. Поскольку все почитали его за святого, каждый с великим доверием и благоговением искал общения с ним; сам же он всегда охотнее сближался с самыми ревностными братьями, дабы к обоюдной радости беседовать о предметах благочестивых.

¹ В некоторых орденах (в Обществе Иисуса – не как регулярная дисциплина) существует практика под названием «*сипра*» (лат. «вина» или «провинность»). Инок, обычно в трапезной перед лицом всей братии, опускается на колени и вслух перечисляет свои внешние нарушения устава или небрежности (например, опоздание к молитве, разбитая посуда, нарушение безмолвия). Это не таинство исповеди, а упражнение в смирении и способ поддержания дисциплины.

² В оригинале: «*O misero di quel Padre! e dove se n'è andato a morire!*» Буквально: «*О, несчастный тот отец! Где он решил умереть!*». Дама сокрушается о том, что человек в расцвете сил «похоронил себя» заживо, уйдя в монастырь.

³ Выражение «публичные обличения» (в оригинале *pubbliche riprensioni*) относится к специфической монастырской практике упражнения в смирении. Во время общей трапезы иноку при всех зачитывают список замеченных за ним проступков или несовершенств (например, за шумное закрытие двери, небрежную походку или рассеянность).

ГЛАВА XXIII. Свидетельства двух отцов, общавшихся с Алоизием в Милане

После кончины Алоизия отец Бернардино Медичи, флорентиец — муж, столь же прославленный своими иноческими добродетелями, сколь и знатностью рода, — бывший в большой близости с нашим святым, написал мне из Милана следующее:

«Наш добрый брат Алоизий говаривал мне, что питает великую любовь к постоянству и верности в малом (ср. Лк 16:10), почитая сию добродетель насущно необходимой для духовного преуспеяния, и поэтому во всех своих действиях и в строго определенные часы он неизменно соблюдал один и тот же порядок.

Он утверждал, что весьма опасно руководствоваться одними лишь чувствами и что верный путь — следовать за светом познания и разума. Сам он старался, чтобы дела его всегда шли соразмерно сему свету; впрочем, он признавался мне, что никогда не мнил себя достигшим того предела, который открывал ему свет. Ибо чем более преуспевал он в делах, тем дальше и яснее прозревал он истину с помощью этого небесного света.

Алоизий пламенно желал претерпевать скорби и говаривал мне, что не знает признака святости более явного, нежели когда видит человека, страждущего с чистой совестью, — сиречь, когда видит его благость и то, что Бог посылает ему случай к терпению. В сердце своем он был самого доброго мнения о каждом; не одобрял лишь явных проступков, но и их старался истолковывать в лучшую сторону, насколько то было возможно.

На чужие недостатки он указывал с искренней любовью и благоразумием, и сам просил открывать ему глаза на его собственные изъяны. Во всех делах он выказывал глубокое благочестие, человеколюбие и великую рассудительность, и никогда — легкомыслие.

За всё то время, что я с ним общался, ни разу не заметил в нем даже первого движения какой-либо страсти; не нашел и ничего предосудительного в его нравах. Ни разу не довелось мне заметить, чтобы он совершил вольную ошибку, даже в самой малости, или хотя бы единожды преступил устав. Он был украшен всякою добродетелью, но более всего меня поражало, что при столь великом совершенстве он ни в чем не казался особенным, и таковое отсутствие всякой исключительности я почитаю за добродетель величайшую. Вот то небольшое, что я могу ныне поведать о нем».

В то же время по коллегии пронеслась молва, что Алоизий обладает выдающимся даром молитвы и совершенно не испытывает при ней рассеяния. Один весьма ученый и влиятельный отец¹ не раз вступал с ним в беседы о предметах духовных. Коснувшись же темы пути единения² в совершенной любви — того, что богословы именуют мистическим богословием, — сей отец ясно увидел, что, сверх многих иных предивных даров Божиих, украшавших эту святую душу, Алоизий пребывал в глубочайшем единении с Господом. Он ежедневно следовал этим мистическим путем, упражняясь в созерцании того «божественного мрака», о коем учит великий Дионисий Ареопагит.

В этом делании Алоизий обладал столь глубоким разумением и духовным опытом, что упомянутый отец и утешение испытал, и глубокое потрясение, обнаружив столь глубокие корни героических добродетелей и изысканного совершенства в юноше, который едва четыре года пробыл в Ордене. По его суждению, Алоизий уже достиг той ступени, на которую лишь немногие из умудренных и опытных иноков сподобляются взойти по благодати Божией.

Обычно те, кто далеко продвинулся по пути единения, тяготятся общением с ближними; они жаждут лишь пребывать в сокровенном созерцании Господа Бога, вдали от мирского шума. Желая испытать юношу, отец выразил удивление, почему Алоизий не относится к подобному упражнению с опасением? Ведь оно представляется прямо противоположным самому духу Общества, которое обязывает иноков общаться с людьми ради спасения их душ. Путь же мистического единения по самой своей природе требует отрешения от всякого общения под любым благовидным предлогом; он избирает одну лишь благую часть (ср. Лк 10:42) — сиречь созерцание, предоставляя другим заботу о жизни деятельной.

Алоизий же отвечал: «Если бы я чувствовал, что сие делание порождает во мне те плоды, о коих говорит Ваше Преподобие, тогда бы и я счел его подозрительным и не душеполезным для меня».

Этот ответ еще более изумил отца, ибо он понял: по особому дару исключительной божественной благодати Алоизий сочетал в себе оба пути так, что единение с Богом не препятствовало деятельности, а деятельность не возмущала созерцания. Он достиг той высочайшей степени единения с Богом в любви и согласии с Его божественной волей, когда душа, пламенеющая любовью к Господу и прозревающая Его ревность о спасении душ, чувствует себя словно ниспосылаемой от высот созерцания к деятельному служению ближним. С того времени упомянутый отец повсюду превозносил великий дар Алоизия и в трех письменных свидетельствах под присягой подтвердил истинность своих слов.

¹ Вероятно, речь идет об о. Агостино Джустиниани, профессоре богословия, который уже упоминался в предыдущих главах как наставник Алоизия.

² В мистической традиции (согласно учению свв. Дионисия Ареопагита, Фомы Аквинского, Бонавентуры и др.) путь души к Богу традиционно разделяют на три последовательные стадии: 1) Путь очистительный (*via purgativa*): Начальный этап, на котором человек стремится очистить сердце от греховных привычек и привязанностей через покаяние, молитву и умерщвление плоти (*аскезу*); 2) Путь просветительный (*via illuminativa*): Стадия, на которой душа, уже очищенная от господства страстей, наполняется светом божественной истины. Здесь преобладает сосредоточенное размышление над жизнью Христа и активное подражание Его добродетелям; 3) Путь единения (*via unitiva*): Высшая ступень мистического восхождения, упомянутая в тексте. На этом этапе душа достигает теснейшего союза с Господом в любви. Воля человека полностью сливается с волей Божией, а молитва переходит в состояние чистого и непрерывного созерцания.

ГЛАВА XXIV. О том, как Алоизию было открыто время его кончины, и о его возвращении в Рим

Блаженный юноша благодаря многим своим добродетелям уже созрел для вечной славы; ангельская жизнь, которую он неизменно вел среди людей на земле, соделала его достойным обитать в сонме небесных ангелов. И тогда Бог подал ему знак, что желает призвать его к Себе, дабы увенчать наградой, которую тот стяжал великим тщанием и усердием в течение краткого поприща своей жизни (ср. 2 Тим 4:8).

Еще в Милане, немногим более чем за год до блаженной своей кончины, однажды утром, когда Алоизий пребывал в высоком молитвенном созерцании, Господь даровал ему внутреннее озарение. В нем святой ясно познал, что дни его жизни будут кратки. Сверх того было ему внушено, дабы в оставшийся год он служил Господу с наивысшим совершенством, в полном отрешении от всего земного, и с сугубым усердием упражнялся во всякой добродетели — как внутренней, так и внешней.

Это небесное озарение столь глубоко преобразило Алоизия, что сердце его еще решительнее отрешилось от всякой мирской привязанности. Он хранил это откровение в тайне от всех и открыл его лишь о. Винченцо Бруно и еще нескольким особам после возвращения в Рим. Он продолжал изучать богословие с прежним усердием, однако уже не питал к наукам прежнего искреннего рвения, ибо чувствовал, как нечто внутри непрестанно побуждает его всецело устремить сердце к Богу.

Ему очень хотелось вернуться в Рим, где он вкусил начатки иноческого духа и где у него было столько сподвижников и духовных друзей. Однако, желая во всё хранить безразличие и всецело верить себя воле настоятелей, он никак не обнаруживал этого своего желания. Однако Богу угодно было, чтобы он вернулся туда ради утешения многих духовных братьев, которые в Римской коллегии нетерпеливо его ожидали.

Поэтому Отец Генерал, видя, что дела в Ломбардии, из-за которых Алоизий был туда послан, успешно завершены, зима миновала и настало благоприятное для путешествия время, распорядился отозвать его в Рим. К этому его побуждали и просьбы ректора Римской коллегии, желавшего возвращения юноши ради духовной пользы многих студентов, которые извлекали много пользы из общения с ним.

Мне было поручено первым сообщить ему эту новость. Услышав её, Алоизий преисполнился такой радости, что даже убоился, не чрезмерна ли она, и потому просил о. Бернардино Медичи отслужить мессу, моля Бога, дабы Тот, если то послужит к вящей славе Его, умертвил это его желание.

Получив же вскоре от самого Отца Генерала повеление возвращаться, он написал нескольким особам письма, полные нежной любви, объясняя причины, по которым ему столь дорого пребывание в Риме. В письме ко мне он говорит следующее:

«Полагаю, мне не составит труда уверить вас в том, что душа исполнена утешения от назначения в Римскую коллегию. Я пламенно желаю вновь увидеть там моих духовных отцов и братию; впрочем, уже и ныне я духом сопричастен вашему общению, на которое в Господе нашем уповаю с радостью еще большей, нежели прежде. Прошу вас особо поручить меня молитвам наших общих знакомых; впрочем, и всей Коллегии я *ex toto corde, et mente, et animo* (от всего сердца, и ума, и души — ср. Мф 22:37) с любовью себя препоручаю».

Иную же причину своего устремления он изложил в письме к другому отцу, с которым вместе проходил новициат. Узнав о своем скором отъезде в Рим, он писал ему так:

«Я стремлюсь к сему со всем рвением, дабы тотчас по возвращении приступить к трудам; ибо *si nobis est patria super terram* (если и есть у нас на земле отечество — ср. Евр 11:13–16), то я не знаю иного, кроме Рима, *ubi genitus sum in Christo Jesu* (где я был рожден во Христе Иисусе — ср. 1 Кор 4:15)».

Получив распоряжение, Алоизий пустился в путь в начале мая 1590 года. В пути он придерживался привычного распорядка, находя в нем душевный покой; его спутники — отцы Общества — также черпали пользу в его примере. Видя, что юноша почти всё время пребывает в безмолвии и глубокой отрешенности, отцы всячески старались отвлечь его от непрерывного размышления, дабы сберечь его силы.

В ту пору в Италии свирепствовал великий голод; на дорогах, и особенно в горах, разделяющих Тоскану и Ломбардию, встречались толпы несчастных, умиравших от недоедания. Видя их, один из отцов молвил Алоизию: «Брат Алоизий, сколь великое благодеяние оказал нам Бог, что мы не родились в такой нужде, как эти бедняки!» Святой же тотчас ответил: «Но еще большее благодеяние в том, что не родились мы в земле турецкой». Этим он желал дать понять, что лишенность веры и богопознания — бедствие несравненно более тяжкое, нежели любая телесная нищета.

Алоизию казалось, что сопровождавшие его отцы выказывают ему чрезмерное почтение и по доброте своей слишком о нем пекутся. Поэтому он признался другому отцу, что охотнее отправился бы в путь с теми, кто не питал бы к нему столь великого уважения.

Прибыв в Сиену, Алоизий пожелал причаститься в келье св. Екатерины Сиенской. Он отправился туда, прислуживал на мессе одному из отцов Общества и принял Святые Тайны с чувством необычайного благоговения. В Сиенской коллегии его просили произнести проповедь перед юношами из Конгрегации Мадонны. Приняв это послушание, он удалился на хоры, дабы помолиться пред Пресвятыми Тайнами и так, без помощи книг, подготовил речь. Вернувшись же в келью, он кратко начертал свои мысли на бумаге.

Проповедь его была исполнена такой силы и духа, что в сочетании с самим обликом Алоизия, уже хорошо знакомым слушателям, пробудила во многих из них горячее желание оставить мир и вступить в Орден. Многие настойчиво просили списки сей проповеди, а подлинник, начертанный рукою святого, один отец-проповедник хранит, как реликвию, по сей день.

Наконец Алоизий добрался до Рима, где был встречен с нескрываемой радостью всеми отцами и братьями Римской коллегии. Они не могли вдоволь наглядеться на него и послушаться его речей, вновь вкушая сладость святой беседы с ним.

ГЛАВА XXV. О безупречном совершенстве св. Алоизия

Мудрец в Книге Притчей говорит, что жизнь праведных, которую он именует стезей, подобна лучезарному свету, который от слабого проблеска утренней зари разгорается всё ярче и ярче, доколе не достигнет полноты дня, когда солнце стоит в самом зените (ср. Притч 4:18). Такова была и святая жизнь Алоизия.

Уже с семи лет она просияла чистотою невинности; с годами же сей свет неуклонно возрастал, ибо юноша шествовал от силы в силу (ср. Пс 83:8). Стяжая всё новый свет и новые заслуги, он наконец достиг такого сияния святости, что о нем можно было сказать:

он не просто вошел в «совершенный день», но сам соделался светилом, сияющим в мире, подобно тому, как Апостол говорил о филиппийцах (ср. Флп 2:15).

И если прежде святость его была велика, то в последний год жизни каждый, кто общался с ним в Римской коллегии, видел в нем совершенство добродетели. Помыслами своими и сердечными устремлениями он пребывал уже более на небесах, нежели на земле; жизнь его была почти непрерывным иступлением духа, полностью отрешенного от мирской суеты.

Прибыв в Рим, он сказал мне такие слова: «Я уже похоронил своих мертвецов и более не должен о них помышлять (ср. Лк 9:60); ныне настало время думать лишь о жизни иной».

Вскоре по приезде он явился к отцу-ректору коллегии и вручил ему все свои записи, как духовные, так и богословские. Среди них были и весьма тонкие рассуждения о трудах св. Фомы Аквинского, которые Алоизий составил сам. Когда ректор спросил его, зачем он лишает себя теологических записей, столь необходимых в учении, и в особенности тех, что были плодом его собственного творчества, юноша отвечал, что делает это потому, что чувствует к ним некую привязанность как к детищу собственного разума. А поскольку в мире он не питал пристрастия более ни к чему, то предпочел отказаться и от этих бумаг, дабы стать окончательно свободным от всякой вещи.

Святой достиг той редкой высокой степени совершенства, которая поистине достойна внимания и подражания каждого инока. Человеку естественно находить приятность и удовлетворение в том, что его сильнее прочих любят и отличают люди почтенные, а тем более настоятели; ведь в том видят явное свидетельство одобрения. Нередко люди не только гордятся этим втайне, но и поминают о том в разговорах. Алоизий же, напротив, всячески избегал особого к себе расположения или милости, в том числе и со стороны начальствующих.

Если же кто выказывал ему знаки личной склонности, он не отвечал на них взаимностью и чувствовал досаду — столь полно он умер для самолюбия. Ему было немило, если кто-то питал к нему исключительную привязанность. Настоятели же, примечая это, намеренно старались (дабы не огорчать его) не выказывать ему большего почтения, нежели всем остальным братьям.

В общении Алоизий всегда был приветлив, но в это время он стал еще более благожелателен и мил со всеми; великая и всеобъемлющая любовь побуждала его равно принимать каждого. Посему братья один другого ревностнее стремились услышать его в часы отдыха, когда он возвышенно рассуждал о Боге, небесных обителях и совершенстве. Я знаю и по рассказам других, и по собственному опыту, что многие уходили после общения с ним еще горячее пламенея сердцем, нежели после самой молитвы (ср. Лк 24:32).

Когда же он встречался наедине с теми, кому мог довериться, он открывал им столь возвышенные чувствования своей души, что собеседники замирали в изумлении; эти признания заставляли их вздыхать о небесах и благоговеть пред столь глубоким богообщением души.

Алоизий неизменно пребывал в памятовании о божественном присутствии, ни на миг не отвлекаясь от него. Он был так преисполнен любви к Богу, что стоило ему услышать за трапезой чтение о Господе или завести о Нем речь, как он приходил в глубокое сердечное

умиление. Это проявлялось и внешне: лицо его внезапно воспламенялось ярким румянцем, и в эти мгновения он не мог вымолвить ни слова.

Однажды за столом, слушая чтение о божественной любви, Алоизий ощутил, как внутри него внезапно возгорелся огонь, из-за чего он был вынужден перестать вкушать пищу. Мы, сидевшие за тем же столом, заметили это и, не зная причины и опасаясь, не дурно ли ему, пристально на него смотрели, спрашивая, не нужно ли ему чего. Он же, не в силах ответить и понимая, что выдал себя, еще более смущался и сидел, потупив взор. Из глаз его катились слезы, лицо пылало, а грудь столь сильно вздымалась от сердечного трепета, что мы всерьез опасались, как бы у него не лопнул какой-нибудь сосуд. Все мы преисполнились сострадания к нему; лишь к концу трапезы он мало-помалу пришел в обычное состояние.

Зная об этой его особенности, некоторые братья во время отдыха нарочно заводили речи о любви Божией к человеческому роду, дабы увидеть, как он краснеет; другие же, напротив, прерывали такие разговоры, дабы пощадить его силы и не повредить его и без того хрупкому здоровью.

Проходя по залам и коридорам коллегии, он бывал в высшей степени отрешен от всего окружающего. Я не раз нарочно проходил прямо перед ним, желая поприветствовать его, но он меня не замечал. В тех же коридорах он часто прочитывал розарий и иные свои молитвы; время от времени опускался на колени и замирал в таком положении надолго, а затем, поднявшись, вновь вскоре преклонял колени. И если бы кто иной позволял себе подобное прилюдно, такое поведение могло бы показаться странным или нарочитым, но когда так поступал Алоизий, каждый принимал это с одобрением и почтением.

В этот год он уделял один час в день чтению духовных книг. Видно было, что он находил великую отраду в «Монологам» св. Августина, в Житии св. Екатерины Генуэзской, в толкованиях св. Бернарда на Песнь Песней и в особенности в послании, именуемом «К братьям из Монте-Деи»¹, которое числится среди творений св. Бернарда. Содержание этого письма он знал столь хорошо, что почти помнил его наизусть; при чтении он извлекал из них глубокомысленные духовные наставления, которые мы нашли среди его собственноручных записей уже после его святой кончины.

Когда в ноябре 1590 года должен был начаться четвертый и последний курс богословия, настоятель настоял на том, чтобы Алоизий занял отдельную келью. Сам же он просил выделить ему крохотный, можно сказать, закуток на самом верху лестницы — ветхую, почерневшую от времени, низкую и тесную каморку с единственным оконцем, выходящим на крышу. Она была столь мала, что в ней едва умещались его убогая кровать, деревянный стул и генуффлекторий, который служил ему столом для занятий. Это помещение походило скорее на тесную темницу, чем на комнату, и потому студентов туда прежде никогда не селили.

Навестив его там однажды, отец ректор обнаружил, что Алоизии преисполнен утешения: он радовался этой каморке так, словно то был великолепный дворец. Мы же в часы отдыха в шутку замечали ему, что если св. Алексей пожелал в нищете обитать *под* лестницей, то он избрал для себя пристанище *над* лестницей.

Словом, Алоизий достиг столь совершенного жития, что никто не мог приметить в нем ничего, что можно было бы вменить ему хотя бы в простительный грех; о том единодушно свидетельствуют в различных документах и его настоятели, и собратья, и

соученики. Более того, его духовник признавался, что после его исповедей неизменно сам чувствовал внутреннее просвещение.

Другой отец, около двух лет деливший со святым одну келью в Римской коллегии, под присягой свидетельствовал следующее.

Хотя оба они получили от отца-ректора предписание с любовью указывать друг другу на замечаемые недостатки, за всё это время он так и не смог подметить за Алоизием ни единого изъяна, даже самого малого. Алоизий постоянно был у него на глазах, и общались они с полным доверием и простотой, однако сожитель не нашел в нем даже тени несовершенства.

Святой юноша пребывал в нерушимом ладу со своими сердечными движениями, неустанно хранил внешние чувства и пребывал в глубочайшем единении с Богом; пламенел рвением о спасении ближних и о преуспейнии своих братьев; словом, являл живой образ святости и совершенства, каковым его и почитали как в Ордене, так и за его пределами. Один отец-проповедник питал к нему столь великое благоговение и уважение, что, несмотря на сильное желание, при возможности побеседовать с юношей, так и не дерзнул к нему приблизиться.

За несколько месяцев до своей последней болезни Алоизий исполнился пламенного желания достичь небесного отечества и часто с большой радостью заводил речи о смерти. Среди прочего он говаривал, что чем дольше живет, тем сильнее в нем растут опасения за свое спасение. Он полагал, что если проживет еще дольше, то в более зрелые годы на него возложат важные дела; если же он примет сан священника, то упование на спасение станет еще меньше.

Святой объяснял это тем, что иереям предстоит дать Богу трудный отчет в том, как они читали Оффиций и как совершали мессы. Еще труднее этот отчет будет для тех, кто берет на себя попечение о душах, принимает исповеди, проповедует, преподает Таинства и руководит другими. В своем же нынешнем состоянии, еще не имея священного сана и не будучи обременен тяжкими делами, он чувствовал большую надежду на спасение, ибо душа его не была отягощена виною. Поэтому он говорил, что охотно примет смерть в своем юном возрасте, если Господу будет угодно призвать его к Себе. И Бог явил ему сию милость при обстоятельствах, о коих будет рассказано далее.

¹ Речь идет о знаменитом «Золотом послании» (*Epistola aurea*) Вильгельма Сен-Тьеррийского, которое до Нового времени традиционно приписывалось святому Бернарду Клервоскому.

ГЛАВА XXVI. Об эпидемии, разразившейся в Риме, и о том, как во время нее поступал св. Алоизий

1591 год был отмечен великими бедствиями: по всей Италии лютовал мор, вызванный небывалым недородом и голодом, от которых повсеместно страдал народ. В Рим же стекалось великое множество людей со всех сторон в надежде на милостыню, и потому число умирающих там было особенно велико.

Отцы Общества Иисусова, используя как собственные средства, так и те, что им удавалось собрать у других, прилагали все силы, знания и возможности, дабы облегчить

общую участь. Они не только прислуживали в различных приютах Рима, но по распоряжению Отца Генерала Клаудио Аквавивы открыли новую временную лечебницу. Сам же Отец Генерал в ту пору лично прислуживал недужным и даже помогал прокаженным.

В это грозное время со всей силой проявилось человеколюбие Алоизия. Он не раз обходил Рим, испрашивая милостыню для больных бедняков, причем выполнял это с таким ликованием, что вызывал восхищение у каждого, кто его видел.

Однажды, узнав о приезде в Рим одного знатного князя, прибывшего для переговоров с тогдашним Папой Григорием XIV, Алоизий пожелал навестить его. Он знал этого господина и общался с ним еще в юности. Приметив в нем некогда доброе расположение к делам Божиим, святой испросил у отца провинциала дозволения явиться к князю в ветхом, латаном платье с сумою через плечо.

Сделал он это по двум причинам: во-первых, дабы получить щедрое подаяние для приютских нищих, а во-вторых, потому что, зная об особом расположении князя, почитал своим долгом послужить его духовному преуспеянию. Алоизий рассудил, что его приход в столь убогом виде станет для вельможи лучшим уроком презрения к суете мира сего.

Получив дозволение, он отправился к князю. Как рассказывал мне позже мажордом того господина, Алоизий достиг обеих своих целей: он получил крупную сумму для бедных, а сам князь был глубоко тронут и получил великое назидание от сего примера, о чем впоследствии отзывался с искренним умилением.

Более того, Алоизий просился лично прислуживать больным в лечебнице. Настоятели поначалу не решались дать ему дозволение, но он со святой настойчивостью, приводя в пример других братьев, уже трудившихся там, всё же добился своего и не раз потом отправлялся в больницу вместе с сотоварищами.

Один из них, по имени Тиберио Бондини, был кем-то предупрежден: ему советовали быть осторожнее, ибо риск заражения был велик. Тиберио же отвечал, что, имея пред глазами пример Алоизия, который служит немощным с удивительным человеколюбием, он ни за что не отступит ни перед какой опасностью, даже перед лицом самой смерти. В те дни в самом Тиберио внезапно возгорелся необычайный жар духа; многие, кто знал его прежде, дивились этой внезапной перемене и радовались ей. Именно ему суждено было стать первым из братьев, кто умер от этой болезни, о чем мы поведаем далее.

Братьев всегда сопровождал кто-либо из священников для принятия исповедей у недужных. Часто туда хаживал о. Никколо Фабрини, флорентиец, муж великого благоразумия, исполненный любви и иноческих добродетелей. В ту пору он был министром Римской коллегии и близко общался с Алоизием; будучи же позднее ректором Флорентийской коллегии, он письменно изложил всё, что происходило в том приюте и во время болезни нашего святого.

С одной стороны, в приюте царил сущий ужас: повсюду лежали нагие умирающие, люди падали замертво в углах и на лестницах, везде стояло невыносимое зловоние, было грязно. Но с другой стороны, там просиял живой образ небесного милосердия: Алоизий и его спутники с великим ликованием прислуживали больным — они раздевали их, укладывали в постели, омывали им ноги, поправляли ложа, кормили, готовили к исповеди и призывали к терпению. Упомянутый отец заметил, что Алоизий по

преимуществу старался быть подле самых неопытных и вызывающих отвращение больных, от коих, казалось, он не в силах был оторваться.

Поскольку болезнь была заразной, многие сотоварищи Алоизия заболели. Первым слег вышеупомянутый Тиберио Бондини, который вскоре и скончался. Алоизий же, видя своего брата уже на пороге смерти, исполнился святой зависти и сказал одному отцу, своему соученику: «О, как охотно я поменялся бы местами с Тиберио и умер бы вместо него, если бы Господь Бог наш изволил оказать мне такую милость!»

ГЛАВА XXVII. О последней болезни св. Алоизия

Господь не замедлил исполнить его желание. Хотя настоятели, видя, что многие помогавшие в том приюте опасно занемогли, запретили Алоизию впредь туда ходить, он со святой настойчивостью вновь принялся умолять их. В конце концов ему было дозволено посещать приют Консоляционе¹, где обычно не бывало заразных больных.

Однако почти сразу Алоизий и сам подхватил ту же болезнь, что и другие, и 3 марта 1591 года слег. Едва почувствовав приступ недуга и рассудив, что эта болезнь станет для него последней (согласно бывшему ему в Милане откровению от Бога), он исполнился необычайной радости, которая сияла на его лице и проявлялась в каждом поступке. Те же, кому он прежде поведал о миланском откровении, по этому великому ликованию поняли, что близится час столь желанного им исхода, что и подтвердилось вскоре на деле.

Чувствуя в себе сильнейшее желание умереть, Алоизий усомнился, нет ли в том некоего излишества, и потому посоветовался об этом со своим исповедником, о. Беллармином. Тот же заверил его, что желание смерти ради воссоединения с Богом не является грехом, если оно сопровождается должной преданностью воле Божией; он напомнил, что многие святые — как древние, так и нынешние — питали такие же чувства. Услышав это, Алоизий с еще большим сердечным рвением всецело предался помышлениям о вечной жизни.

Тяжесть недуга возросла столь стремительно, что на седьмой день юноша оказался на пороге смерти; полагали, что у него началась злокачественная горячка. С величайшим усердием и благоговением он прежде исповедался, а затем принял из рук отца ректора Напутствие и таинство Последнего помазания. На каждое молитвенное возглашение он отвечал с глубочайшим благоговением, вызывая плач и великое сокрушение у всех окружающих, которые скорбели об утрате столь дорогого им и благочестивого собрата.

Пока Алоизий был здоров, он предавался столь многим покаянным трудам и умерщвлениям, что, казалось, сам сокращал свою жизнь. Посему многие из близких ему людей, священников и братьев, движимые любовью к нему, часто его укоряли. Они говорили, что на пороге смерти, если не раньше, он непременно почувствует укор совести за то, что слишком жестоко обходился со своим телом (как рассказывают о св. Бернарде, который в конце жизни сокрушался, что излишне изнурял плоть свою).

Дабы ни в ком не оставить подобных сомнений, Алоизий, приняв Святые Тайны как Напутствие, просил отца ректора объявить всем собравшимся в келье братьям, что он не чувствует никакого раскаяния в содеянном. Напротив, он скорее сокрушается о том, что не совершил многого другого, что мог бы и на что, как он верил, святое послушание дало бы ему дозволение, ведь именно воля настоятелей всегда избавляла его от всяких сомнений. Он добавил также, что никогда ничего не совершал по собственному почину,

но всегда лишь с разрешения старших. Наконец, он сказал, что совесть его чиста и в том, что он никогда намеренно не преступал ни единого правила.

Святой произнес это для того, чтобы никто не соблазнился и не смутился, вспоминая, что он подчас делал больше других и выходил за рамки обычного распорядка. Эти слова глубоко тронули всех присутствующих.

Когда в келью вошел отец провинциал, Алоизий попросил у него дозволения совершить самобичевание. Отец ответил, что, будучи слишком слаб, Алоизий и не сможет сам себя бить, на что святой возразил: «Пусть тогда другой бичует меня с головы до ног». Но и в этом ему было отказано, ибо тот, кто решился бы так поступить с умирающим, подвергся бы опасности канонического нарушения. Видя, что и эта просьба отвергнута, Алоизий стал настойчиво умолять, чтобы ему позволили хотя бы умереть на голой земле, ибо до последнего вздоха оставался верен своей любви к Кресту, покаянию и умерщвлению плоти. Однако и это последнее его желание не было исполнено.

Все были почти уверены, что он умрет в тот же день — седьмой день болезни, когда ему исполнилось ровно двадцать три года. Но Богу было угодно, чтобы тяжесть недуга на время отступила и болезнь затянулась. Господь пожелал, чтобы Алоизий оставил нам еще больше примеров всяческих добродетелей, каковые он являл, будучи прикован к постели.

Между тем в Кастильоне пронесся слух, будто Алоизий уже скончался. Госпожа маркиза, его матушка, и брат совершили по нем торжественное отпевание. Когда же пришла весть о том, что он всё еще жив, маркиз Родольфо от великой радости разорвал на себе золотую цепь и раздал её по звеньям всем тем, кто принес это доброе известие.

¹ *Приют при храме Санта-Мария-делла-Консолационе (Утешения Пресвятой Богородицы) в Риме.*

ГЛАВА XXVIII. О том, как затянулась болезнь св. Алоизия, и о поучительных событиях, происходивших во время его недуга

Когда первый натиск недуга миновал, у Алоизия затянулась медленная изнурительная лихорадка, которая в течение более чем трех месяцев мало-помалу подтачивала его жизнь. В это время произошло немало событий, послуживших к великому назиданию. Собрать их все воедино не представилось возможным: слишком много разных особ, посещавших его, пришлось бы опросить, — поэтому я изложу здесь лишь то небольшое, что дошло до моего сведения.

Когда он занемог, его поместили в лазарет на постель, над которой был устроен полог из грубой холстины и рогожи, оставшийся там от прежнего больного — глубокого старца. Алоизий испросил у настоятеля дозволения убрать его, желая лежать на такой же простой постели, как и все прочие. Ему же ответили, что это было устроено не ради него, и поскольку ткань эта убогая и грубая, нет опасности, что из-за неё он нарушит чистоту иноческой нищеты. Услышав это, Алоизий тотчас успокоился.

В самом начале болезни врач предписал ему и другому брату, страдавшему тем же недугом, одинаковое лекарство, весьма противное на вкус. Тот брат старался выпить его как можно скорее, дабы не чувствовать тошноты, прибегая и к иным обычным в таких

случаях уловкам. Алоизий же, стремясь смирить плоть, брал чашку в руки и пил снадобье медленно-медленно, словно то был изысканный напиток; притом на лице его не отражалось ни тени отвращения, которое он испытывал.

Больничник положил ему на столик несколько кусочков леденцового сахара и солодки, дабы больной время от времени сосал для облегчения кашля. Алоизий попросил у одного брата солодку, а когда тот полюбопытствовал, отчего он не берет сахар, святой ответил: «Потому что это больше подходит бедняку».

Услышав о нависшей над Римом угрозе чумы, Алоизий, хотя и был прикован к постели, предложил настоятелю пойти прислуживать зачумленным в случае своего выздоровления. Более того, он испросил у навестившего его однажды Отца Генерала дозволение принести о том обет. Получив разрешение, он исполнил задуманное с великим сердечным довольством к назиданию всех знавших о том; и в поступке этом все увидели его безмерное человеколюбие.

Во время этой болезни его не раз навещали кардинал делла Ровере и кардинал Шипионе Гонзага. Алоизий неизменно беседовал с ними о духовных предметах и о вечном блаженстве к великому назиданию этих вельмож. Когда же отец ректор сказал им, что не стоит столь часто утруждать себя посещениями, они отвечали, что не могут иначе, ибо обретают в этих встречах огромную пользу для своих душ.

Особенно часто бывал у него кардинал Шипионе. Страдая от подагры, он велел приносить себя к Алоизию в кресле и, казалось, был не в силах отойти от ложа больного. Однажды святой заговорил с ним о своей близкой кончине и о великой милости, которую Бог явил ему, призывая к Себе в столь юные годы. Добрый кардинал слушал его с глубоким волнением, чувствуя к юноше глубокую нежность.

Среди прочего Алоизий сказал, что почитает своим долгом признавать Его Высокопреосвященство своим отцом и величайшим благодетелем в этой жизни, ведь именно благодаря его заступничеству он смог после стольких препон вступить в Орден.

Кардинал, растроганный до слез, ответил, что это он сам бесконечно обязан юноше. Он признался, что, несмотря на разницу в годах, почитает Алоизия своим духовным отцом и учителем, и заверил, что слова и пример святого всегда приносили ему огромное утешение и великую пользу. Уходя же в глубоком сокрушении, кардинал молвил спутникам, что горько скорбит о возможной смерти этого юноши, добавив, однако, что после каждой беседы с ним он чувствовал в душе необычайный покой и что считает Алоизия самым счастливым человеком в роду Гонзага.

В то же самое время в коллегии лежал больной о. Лодовико Корбинелли, флорентиец преклонных лет. Между ним и Алоизием существовала тесная духовная связь, и они часто обменивались приветствиями через братьев. Когда же недуг о. Лодовико обострился, за восемь дней до своей кончины он настойчиво просил больничника привести к нему в келью Алоизия. Сам юноша к тому времени уже не мог держаться на ногах от слабости; священник же жаждал этой встречи, ибо почитал Алоизия за святого. Служитель исполнил просьбу: одел Алоизия и на руках перенес его в комнату священника.

Невозможно описать, какое великое утешение получил добрый старец от этого визита и с какой нежностью и благоговением взирал он на юношу. Долго беседовали они, побуждая друг друга к терпению и покорности благому изволению Божию. Наконец

старец молвил: «Ну что же, брат Алоизий, боюсь, более мы с вами не увидимся в этой жизни. А потому прошу вас об одной милости, и не откажите мне в ней: прежде чем покинете эту комнату, дайте мне ваше благословение».

Услышав такую просьбу, Алоизий был поражен и глубоко смущен. Он возразил, что это совершенно неподобающе: всё должно быть наоборот, ибо отец — старец, а он — юноша; отец — иерей, а он — нет; старшему же по чину подобает благословлять младшего. Однако старец по своему глубокому благоговению перед святостью юноши вновь стал настаивать, умоляя не оставлять его в этот смертный час без утешения; он даже просил служителя не уносить Алоизия, пока тот не исполнит просьбу (ср. Быт 32:26).

Мудрый юноша долго сопротивлялся; наконец, убежденный доводами больничника, он нашел способ не огорчать старца и притом сохранить смирение. Подняв руку, он осенил крестным знаменем *самого себя* и громко произнес: «Господь Бог наш да благословит нас обоих». Затем, взяв святую воду, он окропил ею отца со словами: «Отец мой, Господь наш да преисполнит Ваше Преподобие Своей святой благодати и исполнит всё, чего вы желаете к Его славе; и прошу вас, молитесь обо мне». О. Лодовико весьма утешился и остался чрезвычайно доволен, Алоизия же унесли обратно в его постель.

Еще один знак своего почитания добрый отец явил уже на пороге смерти: он просил настоятелей, дабы его, невзирая на то, что захоронения священников и братьев были отдельными, непременно положили в ту же могилу, где упокится сей святой юноша. И воля его по распоряжению старших была исполнена.

Некоторые сообщают, что Алоизий предсказал, что сей отец умрет раньше него. И действительно, о. Корбинелли преставился первого июня, в канун Пятидесятницы, около полуночи — за двадцать дней до блаженного перехода самого Алоизия в лучшую жизнь.

Келья покойного находилась в другом крыле здания, довольно далеко от комнаты Алоизия, и юноша не мог знать, что в тот вечер о. Корбинелли умирает. Тем не менее в ту ночь старец трижды являлся ему, о чем Алоизий наутро поведал больничнику.

Когда утром этот служитель вошел в келью, дабы отворить окно и навестить больного, он спросил Алоизия, как тот провел ночь. Святой же ответил: «Ночь была необычайно тяжелой. Меня почти не оставляли томительные и странные сны, а вернее — видения. Я трижды видел доброго отца Корбинелли, объятого великой тревогой. В первый раз он сказал мне: „Брат мой, ныне время от всего сердца поручить меня Богу, прося милостиво даровать мне терпение и мужество, столь необходимые в этом тяжком и опасном испытании, что я ныне претерпеваю; ибо без сугубой помощи Его Божественного Величества дух мой не в силах снести его как подобает“.

Пробудившись, я решил, что это лишь сон, и сказал себе: „Поспал бы ты лучше и не забивал голову этой чепухой“. Однако вскоре, едва я вновь забылся сном, тот же отец явился мне во второй раз. Теперь он просил о помощи еще настойчивее, умоляя поддержать его пламенными молитвами, ибо тяжесть недуга стала для него почти невыносимой. Я снова проснулся и еще раз укорил себя за легкомыслие; даже положил в сердце своем просить утром епитимью за нерадение в послушании врачу и настоятелям, которые велели мне отдыхать.

Но вот, когда я заснул в третий раз, тот же отец явился вновь и промолвил: „Дражайший брат, я уже у самого предела этой горестной жизни. Молите Бога, дабы исход мой оказался благополучен и дабы Он по милосердию Своему принял меня в славу вечную. Я

же со своей стороны, если удостоюсь небес, не забуду молиться о вас“. После этого я окончательно пробудился и более не смог сомкнуть глаз до самого утра, пораженный этими видениями и глубоко размышляя о них».

Больничник, выслушав этот рассказ, скрыл свои чувства. Не подав вида, что изумлен, он стал утешать Алоизия, уверяя, что всё это — лишь грезы и призраки, а о. Корбинелли чувствует себя хорошо. Желая, чтобы юноша хоть немного отдохнул, он не открыл ему правды о смерти старца. Алоизий же более не заговаривал с ним о том.

Впрочем, в другой раз святой ясно дал понять: ему доподлинно известно, что отец не только скончался, но и уже обрел райское блаженство. Ибо когда о. Роберт Беллармин спросил его, что он думает о душе покойного и не пребывает ли она в чистилище, Алоизий со всей уверенностью ответил: «Эта душа лишь прошла через чистилище».

Из этого ответа о. Беллармин заключил, что юноше было дано божественное откровение. Зная, что он по духу необычайно осмотрителен в речах и никогда не выдает сомнительного за непреложную истину, кардинал понял: Алоизий не стал бы высказывать таких утверждений столь решительно, не получи он от Бога несомненного о том удостоверения.

Мы же в то время всячески убеждали его просить у Бога продления жизни, приводя разные доводы: так он мог бы и стяжать еще больше заслуг, и принести больше пользы ближним и нашему Ордену. Он же неизменно отвечал всем нам: «*Melius est dissolvi* — Лучше разрешиться (ср. Вульг. Флп 1:23)».

Он произносил это столь проникновенно и искренне и с такой безмятежностью на лице, что всем стало ясно: желанием этим двигало лишь стремление как можно скорее и неразлучно соединиться с Богом.

ГЛАВА XXIX. Два письма, написанные св. Алоизием госпоже маркизе, своей матушке, во время болезни

Во время болезни Алоизий написал госпоже маркизе, своей матушке, два письма. Первое он продиктовал почти в самом начале недуга, когда миновал тот первый натиск, во время которого он был на волосок от смерти. В этом письме, утешив родительницу и призвав её к терпению в скорбях, он добавил следующее:

«Месяц назад я был готов получить от Господа Бога нашего величайшую милость, какой только мог сподобиться — а именно умереть, как я надеялся, в Его благодати, и уже принял было и Напутствие, и Последнее помазание, однако Господу было угодно отсрочить мой исход, оставив мне пока лишь медленную лихорадку, которая всё не проходит.

Врачи не знают, чем кончится дело; они прилагают все средства ради телесного здоровья, мне же отрадно помышлять, что Господь Бог наш желает даровать мне здоровье несравненно более совершенное, нежели то, какое могут дать лекари. Посему я провожу время в радости, уповая, что через несколько месяцев Господь призовет меня из страны мертвых в землю живых (ср. Пс 26:13; Пс 114:9); из общества людей здесь, долу, — в сонм ангелов и святых на небесах; и, наконец, от созерцания сих вещей земных и тленных — к видению и созерцанию Бога, Который есть само Благо.

Мысль об этом может послужить Вашей Светлости источником великого утешения, ибо Вы любите меня и желаете мне истинного добра. Прошу Вас молиться и напоминать братии из Конгрегации христианского вероучения возносить молитвы, дабы за то малое время плавания, что осталось мне в море мира сего, Господь Бог наш заступничеством Единородного Сына Своего, Пресвятой Матери Своей и свв. Назария и Цельсия удостоил погрузить в Чермное море Своих пресвятых страстей (ср. Исх 14) все мои несовершенства. Дабы, избежав врагов, я смог войти в Землю обетованную, узреть Бога и вечно радоваться о Нем. Да утешит Господь Вашу Светлость. Аминь».

Второе письмо, более пространное, Алоизий написал незадолго до кончины, когда ему уже было открыто свыше, о чем мы поведаем позже, в какой именно день он должен будет оставить этот мир и отойти к небесам. Прощаясь в нем с матушкой, он пишет следующее:

«Светлейшая и досточтимая во Христе госпожа матушка! Pax Christi.

Благодать и утешение Святого Духа да пребудут всегда с Вашей Светлостью. Ваше письмо застало меня еще живым в этой стране мертвых; однако же я всем сердцем стремлюсь отойти, дабы вечно славить Бога в земле живых (ср. Пс 114:9). Я ожидал, что к этому часу уже перешагну порог; но ярость лихорадки, о которой я писал прежде, несколько утихла в самом разгаре, и так я потихоньку дотянул до славного дня Вознесения. С того же времени из-за обильного скопления мокроты в груди болезнь вновь обострилась, и ныне я шаг за шагом приближаюсь к сладостным и возжеланным объятиям Небесного Отца, в чьем лоне надеюсь обрести надежный и вечный покой.

Всё это согласуется с теми вестями о моем состоянии, что доходят до ваших краев и о которых я пишу также господину маркизу. И коль скоро любовь, по слову св. Павла, побуждает плакать с плачущими и радоваться с радующимися (ср. Рим 12:15), то сколь же великой должна быть радость Вашей Светлости, госпожа матушка, о той милости, которую Бог являет мне: ведь Господь Бог наш ведет меня к истинному ликованию, уверяя, что я более никогда его не утрачу.

Признаюсь Вашей Светлости, что я теряюсь и тону в созерцании Божественной Благодати — этого безбрежного и бездонного океана, который призывает меня к вечному покою за столь малые и краткие труды. Он манит и зовет меня с небес к тому Высшему Благу, коего я искал столь нерадиво, и обещает мне плод тех слез, которые я сеял столь скудно (ср. Пс 125:5).

Смотрите же, Ваша Светлость, и берегитесь, дабы не нанести обиды Его бесконечной Благодати; а сие несомненно случится, если Вы станете оплакивать как мертвого того, кому предстоит жить пред лицом Бога, своими молитвами принося Вам пользу несравненно большую, нежели делал он доселе. Разлука наша не будет долгой: там, в вышних, мы вновь увидимся и будем радоваться, уже не расставаясь, в единстве с нашим Искупителем, восхваляя Его всеми силами и вечно воспевая Его милости.

Нисколько не сомневаюсь: если мы отложим в сторону внушения кровных уз, то с легкостью отворим двери вере и тому простому и чистому послушанию, что обязаны оказывать Богу. Давайте же щедро и охотно отдадим Ему то, что и так принадлежит Ему; и притом тем охотнее, чем дороже нам то, что Он забирает. Будем твердо помнить: всё, что делает Бог, — к лучшему. Он забирает то, что прежде Сам же нам дал, лишь для того, чтобы поместить сие в место надежное и безопасное, и даровать нашему близкому то, чего мы все желали бы для самих себя.

Всё это я сказал лишь ради того, дабы исполнить свое желание, ибо я жажду, чтобы Ваша Светлость со всей нашей семьей приняла мой уход как драгоценный дар. И да сопутствует мне Ваше материнское благословение; да поможет оно мне переплыть эту пучину и достичь долгожданного берега. Я пишу это с тем бóльшим рвением, что у меня не осталось иного способа засвидетельствовать Вам любовь и сыновнее почтение, коими я Вам обязан.

В завершение же вновь смиренно прошу Вашего благословения.

Из Рима, 10 июня 1591 года. Вашей Светлости послушнейший сын во Христе

Алоизий Гонзага».

ГЛАВА XXX. О том, как св. Алоизий готовился к смерти

Настало время поведать о том, как по-христиански благочестиво Алоизий приготавливал себя к преставлению от земли к небесам. Во всё время своего долгого и тяжкого недуга, во время которого, невзирая на прекрасный уход, он претерпевал многие невзгоды (как то обычно и бывает при затяжных болезнях), святой ни разу не выказал ни малейшего признака нетерпения ни жестом, ни словом. Он никогда ни на что не жаловался и не выказывал ни малейшего недовольства заботой о нем или иными трудами больничников (а ведь именно в недугах страсти человеческие обнаруживаются прежде всего).

Напротив, он неизменно хранил великое терпение и пребывал в неукоснительном послушании настоятелям, врачам и служителям, наставляя всех своим примером, как подобает иноку вести себя в недугах, даже наитягчайших.

С того часа, как Алоизий слег, и до самой кончины он не желал слушать ничего, кроме бесед о Боге и о вечном блаженстве. И дабы доставить ему сию праведную отраду, все посещавшие его говорили в той келье лишь о предметах благочестивых. Если же случалось, что кто-то, забывшись, начинал рассуждать о чем-либо ином, Алоизий весь уходил в себя, не обращая на слова ни малейшего внимания; когда же беседа вновь возвращалась к божественному, он преображался и вставлял слово-другое, выказывая не просто довольство, но истинное ликование.

Он объяснял это так: хотя он и верит, что «вещи безразличные» (то есть житейские темы), если говорить о них с рассудительностью и в духовном ключе, не противны иноческому уставу, однако же в том состоянии, в каком он ныне пребывает, Бог требует от него иного. А именно: чтобы во всякой беседе не только «формальная сторона» (как он выражался), то есть намерение, направленное к славе Божией, была духовной, как то и должно быть всегда, но чтобы и всё «материальное содержание» самой беседы было посвящено Богу. Ибо все мгновения времени, что Господь даровал ему на закате его дней, казались ему слишком драгоценными, дабы тратить их на что-то иное, кроме вещей драгоценных.

Порой Алоизий просил подать ему одежду и, преодолевая слабость, тихо сползал с постели. Медленно, шаг за шагом, он добирался до стола, на котором стояло Распятие, и, взяв его в руки, с великой нежностью и благоговением обнимал и лобызал его. То же самое он делал перед образом св. Екатерины Сиенской и иконами других святых, что находились в его келье. Когда однажды больничный служитель заметил, что юноше не стоит вставать ради этого, ибо он сам может поднести Распятие и образа к его ложу,

Алоизий ответил: «Брат мой, это мои стояния (stazioni)¹»; и продолжал поступать так всякий раз, пока силы не оставили его окончательно.

Более того, днем, когда он оставался один и дверь в келью была заперта, он тайно вставал и молился на коленях в углу между кроватью и стеной, а когда слышал шум за дверью, поспешно поднимался, дабы вернуться в постель. Долгое время служитель полагал, будто больной встает лишь по естественной нужде, но, заставая его вне постели слишком часто, в конце концов заподозрил неладное. Он хитростью застиг Алоизия молящимся на коленях и строго запретил ему впредь делать это. Юноша, густо покраснев оттого, что тайна его открылась, смиренно покорился.

В те дни он старался почаще беседовать о делах духовных со своим исповедником, о. Беллармином. Однажды вечером Алоизий спросил наставника, верит ли тот, что кто-то может войти в рай, не коснувшись огня чистилища. Отец ответил утвердительно и, зная высоту добродетелей своего духовного чада, добавил: «Более того, я верю, что вы будете одним из тех, кто отойдет напрямиком на небеса. Господь по милосердию Своему наделил вас многими дарами, о которых вы мне поведали, и, видя, что вы никогда не оскорбляли Его смертным грехом, я твердо уповаю: Он дарует вам и сию последнюю милость».

Этот ответ преисполнил душу доброго Алоизия неизреченным утешением, и стоило отцу покинуть келью, как юноша был восхищен в экстаз: перед его внутренним взором предстала вся слава Небесного Иерусалима. В этом исступлении духа он пребывал почти всю ночь, вкушая безмерную сладость. Как он сам позже признавался о. Беллармину, ночь эта пролетела для него, словно одно мгновение. Считается, что именно в этом видении ему был открыт точный день смерти: позже он ясно предсказал многим, что умрет в восьмой день после праздника Тела Господня, что и сбылось в точности.

Недуг крайне обострился, и о. Винченцо Бруно, префект лечебницы и знаток врачебного искусства, подтвердил, что Алоизию осталось прожить всего несколько дней. Тогда святой обратился к одному из братьев: «Знаете ли вы добрую весть, которую я получил? Через восемь дней я умру! Прошу вас, помогите мне пропеть *Te Deum laudamus* в благодарность Богу за милость, которую Он мне оказывает». И они вместе благоговейно пропели этот гимн.

Вскоре в келье его навестил один из соучеников, и Алоизий радостно молвил ему: «Отче мой, *Laetantes imus, laetantes imus* — идем с радостью, идем с радостью!» (ср. Вульг. Пс 121:1). Те же, кто видел это ликование, не могли сдержать вздохов и слез умиления.

Затем святой решил написать прощальные письма трем отцам, к которым питал особое расположение: о. Джованни Баттисте Пескаторе, своему наставнику новичиев, пребывавшему тогда в Неаполе; о. Муцио д'Анджели, учителю богословия в том же городе, и о. Бартоломео Рекалькати, ректору в Милане. В письмах этих, начертанных чужой рукой, он сообщал, что ныне отходит, как он уповает, к небесам, и просил их святых молитв. Сам же он из-за крайнего бессилия не мог подписаться, и потому просил направлять его руку, дабы вместо имени поставить под текстом знак креста.

Свои последние восемь дней он старался провести во многих молитвах. Поведав одному близко знакомому отцу о своей уверенности в скорой смерти, Алоизий просил его ежедневно приходиться в келью на один час и читать ему семь покаянных псалмов. Во время этого чтения дверь запирали, на постель больного ставили распятие, а священник опускался рядом на колени. Алоизий, не отрывая взора от распятия, погружался в

глубокое созерцание слов Писания с такой проникновенностью, что отец во время чтения начинал горько плакать, а из глаз самого святого слезы катились тихо и мирно .

В иные часы дня он просил читать ему ту или иную главу из «Психагогии», «Монологов» св. Августина или из работ св. Бернарда (его толкования на Песнь Песней или гимн *Jesu dulcis memoria*). Также он сам выбирал псалмы, среди которых чаще всего звучали: «*Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus*» (Возрадовался я, когда сказали мне: пойдём в дом Господень; Пс 121:1) и «*Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus*» (Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже; Пс 41:2).

Когда же разнеслась молва о том, что Алоизий предсказал свой уход в восьмидневный срок, всякий старался улучшить время, дабы застать его одного и попросить о молитвах. Он же со всяким рвением принимал все эти просьбы о предстательстве на небесах, обещая молиться о каждом с истинным братолюбием. В нем была видна полная уверенность в скором свидании с Богом, ибо о собственной смерти он говорил так запросто, как говорят о переходе из одной комнаты в другую.

Многие отцы навещали его и служили ему из одного лишь благоговения; чаще прочих бывали у него о. Марио Фуччоли, генеральный прокуратор, и о. Джироламо Пьятти (который сам почил спустя два месяца после Алоизия). Сей последний, выйдя однажды из кельи юноши, молвил своему спутнику: «Говорю вам, Алоизий — святой, несомненный святой! Он столь свят, что его можно было бы канонизировать еще при жизни». Сим он намекал на слова Папы Николая V, который при канонизации св. Бернардина Сиенского сказал о св. Антонине, архиепископе Флоренции, который в ту пору был жив и присутствовал на торжестве: «Полагаю, Антонин живой не менее достоин канонизации, чем Бернардин — мертвый».

К исходу того восьмидневного срока Алоизий пребывал почти в непрерывном созерцании, лишь изредка произнося благочестивые слова или творя краткие молитвенные воздыхания. В последние три дня, получив от одного из отцов бронзовое распятие с «Филиппинской индульгенцией»², он не отнимал его от груди до самого последнего вздоха. Не раз он сотворил исповедание веры по чину, предписанному требником, выказывая пламенное желание соединиться с Богом и часто повторяя: «*Curio dissolvi, et esse cum Christo* — Имею желание разрешиться и быть со Христом» (Флп 1:23) и иные подобные слова.

¹ При богослужении Крестного пути.

² «Филиппинское распятие» — особый предмет католического благочестия конца XVI века, наделенный папскими привилегиями для поддержки миссионерской деятельности. Привилегия была учреждена папой Сикстом V (понтификат 1585–1590) специально для миссионеров на Филиппинах. Она позволяла наделять предметы (кресты, медали) особым «духовным сокровищем» Церкви — индульгенциями. Позже, в 1596 году, папа Климент VIII распространил это право на иезуитские миссии в Ост-Индии. Главным даром была полная индульгенция в час смерти. Она даровалась верующему при соблюдении двух условий: 1) физическое наличие при себе этого распятия; 2) благоговейное призывание имени Иисуса (устаами или, при невозможности говорить, в сердце). Распятие, которое держал святой, принадлежало о. Сангесу (*Sanges*). Оно было повешено св. Алоизию на шею за три дня до смерти. Согласно свидетельству очевидца Франческо Гвельфуччи, святой умирал, взирая

на большое храмовое распятие напротив постели и одновременно прижимая левой рукой к сердцу этот малый «миссионерский» крест, тем самым выражая упование на милость Господню и свою духовную сопричастность делу миссий.

ГЛАВА XXXI. О его святой кончине

Настала октава праздника Тела Господня. Рано утром помощник больничника вошел в келью Алоизия и, найдя его в обычном состоянии, молвил: «Ну вот, брат Алоизий, мы всё еще живы и не умерли, как вы полагали и говорили». Юноша же вновь подтвердил, что умрет именно в этот день. Выйдя из кельи, помощник сказал больничному служителю: «Алоизий по-прежнему твердо стоит на том, что должен сегодня умереть; а между тем мне кажется, ему лучше, чем в прошлые дни».

Другой отец, навещая его, сказал то же самое: «Брат Алоизий, вы сказывали, что умрете в эту октаву. Вот уже настал последний её день, а мне видится, что вам стало лучше и можно помышлять о жизни». Алоизий же на это отвечал: «Сегодняшний день еще не закончился».

Еще яснее он высказался другому посетителю. Тот вошел в келью и, увидев, как Алоизий страдает от раны, образовавшейся на правом бедре из-за крайней худобы и долгого лежания на одном боку, исполнился сострадания и сказал, что хотя ему и больно его терять, но он всё же предпочел бы, дабы Господь наш избавил его от этих мук. На это Алоизий с полной серьезностью ответил: «Нынешней ночью я умру». Тот возразил, что по виду его не скажешь, будто смерть близка, но Алоизий дважды повторил: «Нынешней ночью я умру, нынешней ночью я умру».

Всё то утро он провёл в великом благоговении, перемежая исповедание веры, сердечную молитву и поклонение. Около полудня он начал настаивать, дабы ему преподали Напутствие, о котором он просил еще с начала дня. Но больничники, не веря в близость его смерти, не желали внимать просьбам. Видя же его настойчивость, они сказали, что раз он уже принимал Святые Тайны во время болезни, то они не полагают возможным повторять таинство столь скоро. Алоизий же отвечал: «Святое помазание — нет, но Напутствие — да». Тем не менее служители временили с исполнением его просьбы.

В то время как он пребывал в таком состоянии, Папа Григорий XIV, который, как полагают, узнал о его затажном недуге от кардиналов, его родственников, осведомился о его здоровье. Услышав же, что юноша вот-вот отойдет в жизнь иную, Папа по собственному почину прислал ему свое благословение и полную индульгенцию. Весть об этом принес в келью отец министр коллегии. И сколь ни радовался Алоизий по величайшему смирению своему благословию и индульгенции, столь же сильно устыдился он слов о том, что сам Папа вспомнил о нем. Когда он закрыл лицо руками, министр, желая избавить его от смущения, добавил, что удивляться не стоит, ибо Папа лишь случайно услышал о его опасной болезни.

Около двадцати двух часов¹ Алоизия навещил один из отцов, бывший его сотоварищем по новициату. Юноша попросил его поторопить отца ректора с Напутствием, что и было исполнено. Святой также упросил этого отца прочесть вместе с ним Литанию Пресвятым Тайнам, при этом отвечал на каждое воззвание ясным голосом, а под конец, с лицом еще более радостным, чем обычно, и с улыбкой на устах поблагодарил священника.

Когда явился отец ректор, дабы преподать Напутствие, Алоизий преисполнился великого ликования. Он принял Святые Тайны с глубочайшим благоговением и волнением, в

твердой уверенности, что вскоре сподобится узреть Господа лицом к лицу в раю. Видя его в этот миг и слыша слова чина: «*Accipe, frater, Viaticum corporis Domini nostri Jesu Christi...*» («Прими, брат, Напутствие Тела Господа нашего Иисуса Христа...»), все присутствующие в келье не могли сдержать слез умиления.

После причастия святой юноша решил обнять каждого из присутствующих, что сделал с искренним братолюбием и радостью, как в Обществе заведено прощаться с теми, кто отправляется в дальние страны, и приветствовать возвращающихся оттуда. Когда братья подходили к нему для последнего целования, никто не мог сдержать рыданий; все с нежностью и глубокой скорбью взирали на него, вновь и вновь прося его молить.

Один из братьев, с кем святого связывала особая взаимная любовь, оставшись с ним наедине, признался, что уповает на скорое обретение Алоизием блаженного видения, и просил его помнить о своем друге на небесах так же, как помнил о нем при жизни, и простить, если когда-либо обидел святого каким-нибудь неосторожным поступком. Алоизий с большой нежностью отвечал, что уповает на бесконечное милосердие Божественной Благодати, на драгоценную Кровь Иисуса Христа и на заступничество Пресвятой Девы и верит, что исход его будет скорым. Он обещал непременно помнить о друге и просил его быть в том уверенным, ибо если он любил его на земле, то еще сильнее будет любить на небесах, где милосердная любовь достигает совершенства. При этом сознание его оставалось столь ясным, а речь столь живой и связной, что присутствующим трудно было поверить в близость его смерти.

В тот же час в келью вошел отец провинциал и спросил: «Что поделываете, брат Алоизий?» Тот же отвечал: «Уходим, отче». — «И куда же?» — спросил отец. Алоизий сказал: «На небо». — «Как? На небо, вон оно что!» — молвил провинциал. Юноша же добавил: «Если грехи мои не станут преградой, уповаю на милосердие Божие, что буду там».

Тогда отец провинциал, обернувшись к стоявшим рядом, негромко произнес: «Послушайте-ка: он говорит об отшествии на небеса, как мы говорим о поездке во Фраскати. Что же нам делать с этим братом? Неужто мы положим его в общую могилу?» На это ему ответили, что по причине святости Алоизия было бы правильным позаботиться об его упокоении особым образом.

Около двадцати трех часов² я находился у его постели, поддерживая его голову рукой, чтобы ему легче дышалось. В это время он пристально всматривался в маленькое распятие, прикрепленное над его ложем; молитва перед этим образом в смертный час даровала полную индульгенцию. И вот в таком положении, он поднял руку и снял с головы полотняную шапочку. Я же, решив, что это лишь невольное движение умирающего, вновь надел её ему на голову, ничего не сказав. Спустя малое время он вновь принялся её снимать. Я же, опять надевая её, молвил: «Брат Алоизий, оставьте её, чтобы вечерний воздух не застудил вам голову». Он же, указав глазами на распятие, ответил: «У Христа при смерти ничего не было на голове». Эти слова преисполнили меня одновременно и благоговения, и глубокого сердечного сокрушения.

Вечером, после «*Ave Maria*», когда в его присутствии начали обсуждать, кому остаться подле него на ночь, Алоизий, хоть и пребывал в глубоком созерцании, дважды сказал одному из отцов, стоявшему рядом: «Побудьте со мной». А поскольку он прежде обещал другому брату, желавшему присутствовать при его кончине, известить его о часе исхода, он добавил, как бы исполняя обет: «Постарайтесь и вы остаться».

Около первого часа ночи³ комната была полна людей. Отец ректор, видя, что Алоизий говорит вполне живо и связно, всё еще не верил, что тот умрет нынешней ночью, как святой предсказал. Напротив, он полагал, что больной продержится еще несколько дней, как то часто случается при подобных лихорадках. Покидая келью, он велел всем разойтись и отдохнуть. И сколько бы многие ни умоляли его, он так и не позволил никому остаться, твердя, что Алоизий нынче не умрет; а также добавил, что если бы он сам в это верил, то ни за что бы не ушел. Он распорядился, чтобы лишь отец министр и еще один священник остались присматривать за больным.

Всякий может представить, с какой нежностью и болью мы все расставались с братом, столь любимым нами, которого мы уже не надеялись увидеть живым. Он же, видя нашу скорбь, утешал всех, обещая помнить о нас в небесах, и просил помочь ему молитвами в сей последний миг, и давал различным братьям поручения, прося исполнить их сразу после его смерти. Так, со слезами на глазах, один за другим мы покинули его, понуждаемые к тому лишь заповедью послушания.

Оставшись лишь с двумя отцами, он пребывал в совершенном единении с Богом, устремляя к Нему все помыслы и чувства. Время от времени он произносил краткие речения из Священного Писания, как, например: «*In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum* — В руки Твои, Господи, предаю дух мой» (Пс 30:6; Лк 23:46) и иные подобные. Лицо его сохраняло всё то же благостное выражение, пока присутствующие читали над ним молитвы, окропляли его святой водой или подносили распятие для целования, сопровождая эти действия духовными напутствиями.

Когда же начались предсмертные борения, по мертвенной бледности его лица, покрытого каплями пота, отцы поняли, что страдания его велики. Слабеющим голосом Алоизий попросил немного переменить положение его тела, ведь он три дня кряду лежал в одной и той же позе. Однако отцы, опасаясь ускорить его кончину и понимая, что просьба эта исходит скорее от природной немощи, нежели от сознательного выбора, не стали его тревожить. Напротив, они напомнили ему о том жестком и тесном ложе Креста, на котором Христос, Господь наш, в величайших муках и тесноте почил ради нас.

Услышав это напоминание, Алоизий устремил пристальный взор на распятие. И хотя уста его уже не могли выговорить ни слова, он знаками дал понять, что ради любви к Богу готов претерпеть еще большие муки. Казалось, он властно приказал самому себе умолкнуть и замер в совершенной бездвижности. Видя же, что он более не может ни говорить, ни шевелиться, отцы вложили в его руку зажженную освященную свечу.

Сжимая этот светильник, знаменующий верность и постоянство в святой вере, Алоизий из последних сил старался призывать святейшее имя Иисуса, едва шевеля губами. Между двумя и тремя часами ночи⁴ он в глубочайшем спокойствии предал душу своему Создателю. Так он сподобился милости, о которой столь пламенно просил: отойти к Богу либо в октаву праздника Тела Господня, к коему всегда питал величайшее благоговение, либо в пятницу — ради любви к Страстям Спасителя.

Земной путь Алоизия завершился на самом исходе октавы Пресвятых Тайн, накануне пятницы — в ночь с 20 на 21 июня 1591 года. Ему было тогда двадцать три года, три месяца и одиннадцать дней. В том же возрасте — двадцати трех лет с небольшим — некогда почил и святой Людовик⁵, сын Карла II, короля Франции, бывший миноритом св. Франциска, а затем епископом Тулузским. С этим святым наш Алоизий имел немало сходство во многих добродетелях.

¹ Около 6 часов вечера (за два часа до захода солнца).

² Около 7 часов вечера (за час до захода солнца).

³ Около 9 часов вечера (через час после захода солнца).

⁴ По современному счету — между 10 и 11 часами вечера 20 июня.

⁵ Св. Людовик Тулузский – пам. 19 августа.

ГЛАВА XXXII. Об отпевании и погребении св. Алоизия, а также о том, что при этом происходило с его останками

Два отца, что неотлучно находились рядом с ним в час кончины, чувствовали, что обрели от Бога великую милость, ведь среди великого множества тех, кто жаждал этого, именно они удостоились стать свидетелями блаженного исхода столь благочестивого юноши; тем более, перед самой смертью Алоизий обещал им непрестанно ходатайствовать о них пред Богом во все дни их жизни.

Отец министр обрел глубокий душевный покой и великое утешение, а его спутник исполнился необычайного благоговения и сокрушения, ибо всем сердцем желал служить Богу так, как учил св. Алоизий. Сие чувство, сопровождаемое обильными слезами, не оставляло его в течение многих месяцев и даже лет — пусть и не всегда с тою же первоначальной силой, а проявляясь то сильнее, то слабее, смотря по обстоятельствам. Желая иметь у себя хоть какую-то реликвию святого, но из почтения к его особе не дерзая взять ничего из одежд, остававшихся на теле, этот брат взял (и хранит по сей день, когда я пишу эти строки) шнурки от его сапог, перья, которыми он писал, и иные подобные вещи.

Вскоре пришли больничники, дабы омыть покойного и приготовить его останки к погребению. Когда же в присутствии помянутых отцов они приподняли одеяло, то обнаружили на груди Алоизия то самое бронзовое распятие, о коем говорилось выше; его он непрестанно держал у сердца в течение трех последних дней. Когда же покойного стали раздевать, все увидели на коленях святого огромные мозоли, образовавшиеся от давнего, начатого еще в детстве, обыкновения всегда молиться коленапреклонно. Некоторые из братьев по своему благоговению срезали частицы этой ороговевшей кожи на реликвии, и хранят их поныне.

Один из служителей, вняв просьбам неких набожных людей, решился было отрезать частицу плоти святого, но внезапно впал в смущение и взял лишь малый лоскут кожи. Он утверждает, что впоследствии этой кожей был исцелен один больной, к чьей ране её приложили.

Едва Алоизий испустил дух, один из упомянутых отцов поспешил известить самых близких друзей святого, что «наш ангел улетел на небо», и они тотчас поднялись с постелей в великом волнении. Одни уже вверяли себя его заступничеству, ибо твердо верили, что он в обителях спасения; другие же возносили за него те молитвы, о которых он сам по-дружески просил их перед смертью.

Наутро, 21 июня, едва прозвонили к подъему, келья, где покоились святые останки, наполнилась людьми. Все падали на колени, молясь о нем, но еще более — прося его о молитвах. Началось некое благочестивое состязание: каждый старался раздобыть себе что-нибудь на память. Забрали его сапоги, сорочку, нательную фуфайку и иные вещи; срезали ему ногти, волосы и даже частицы плоти — столь велико было всеобщее благоговение.

Затем останки перенесли в общую капеллу внутри коллегии, где они оставалось всё утро, и множество людей приходило туда, дабы увидеть покойного. Даже те юноши из числа его знакомых, что прежде питали естественный ужас перед мертвецами и не смели к ним прикоснуться, ныне из почтения к святому приближались к похоронным носилкам, обнимали и лобызали усопшего, в один голос восклицая: «Святой! Святой!».

В то утро как в самой коллегии, так и в иных обителях Общества в Риме все мессы служились об упокоении его души. И хотя многие делали это, следуя иноческому обычаю, едва ли кто в сердце своем полагал, что Алоизий в действительности нуждается в молитвах. Невозможно передать тем, кто не был тому очевидцем, какое глубокое волнение вызвала его смерть во всей коллегии. Братья не могли говорить ни о чем ином, кроме как о его добродетелях и благочестии, вспоминая наперебой то одну, то другую черту его добродетельного нрава, что они в нем приметили. Чувства многих говорили громче слов; в глубине души они скорбели о том, какого бесценного сокровища лишились и с каким святым сотоварищем ныне разлучились.

Вечеру, около двадцати двух часов¹, когда пришла пора совершить заупокойный чин, святые останки вынесли из капеллы и перенесли в большую залу, где собрались все отцы и братья. По нашему обыкновению, лобызать руки подобает лишь священникам, но, хотя Алоизий принял лишь младшие чины, однако по причине его несравненной святости все без исключения, даже сами иереи, один за другим подходили облобызать его руку, прежде чем тело было перенесено в храм.

По завершении сего благочестивого обряда святые останки торжественною процессией перенесли в коллегиальную церковь Благовещения, где по усопшему, согласно обычаю, пропели заупокойную службу. После же богослужения собралось столько студентов-иноземцев и горожан, что у гроба возникла давка: каждый жаждал поклониться святым мощам и заполучить хоть какую-нибудь реликвию. Отцы не в силах были сдерживать напор толпы, так что ради порядка пришлось даже затворить церковные ворота. В то время у святого срезали волосы и ногти, отрывали лоскутки от сорочки и одежд; в итоге отрезали даже края кожи на пальцах и два сустава от мизинца на правой руке.

Среди тех, кто находился там, были светлейшие господа: дон Франческо Дитрихштейн (ныне кардинал Святой Церкви), Бенедетто и Филиппо Гаэтани, Джулио Орсини и иные; также и дон Максимилиано Пернестано, чешский барон, который позже скончался в звании тайного камергера Папы Климента VIII.

Когда пришла пора предавать тело земле, наиболее почтенные отцы коллегии, и в первую очередь о. Роберт Беллармин, высказали мнение, что не подобает хоронить Алоизия обычным порядком, как прочих братьев, а следует поместить его в отдельный гроб, ведь он вел жизнь исключительной святости, и все верили: Господь Бог наш прославит его перед миром после смерти тем ярче, чем усерднее сам он старался утаиться от людей при жизни (ср. Мф 5:14–16; Лк 14:11).

В Обществе не было заведено хоронить усопших в гробах — обычно их тела просто опускали в общую гробницу. Поэтому отец ректор отправил министра в храм Иль-Джезу испросить совета у о. Лоренцо Маджо, бывшего в ту пору ассистентом Общества по Италии. Тот, переговорив с Отцом Генералом, велел положить Алоизия в отдельный гроб, причем Отец Генерал тем охотнее дозволил отступить от общего обычая, что святость юноши была для него совершенно очевидна. Это наглядно показывает, сколь высоко уже тогда ценили праведность Алоизия, раз ради него решились на такое необычное исключение, подобающее лишь святому.

Останки Алоизия положили в деревянный гроб, изготовленный специально для него, и погребли в церкви Римской коллегии — в капелле Распятия, что находится по левую руку при входе в храм через главные ворота, в нише со стороны Евангелия¹, обращенной к улице.

На протяжении многих дней в Римской коллегии не слышно было иных разговоров, кроме как о добродетелях святого брата. Понимая, что более не могут радоваться его живому присутствию, братья начали почитать его по смерти. Ежедневно многие приходили к его гробнице, дабы вверить себя его заступничеству, и подолгу задерживались там, молясь; некоторые же неизменно делали это на протяжении месяцев и лет, пока оставались в Риме.

Одним из таких почитателей был о. Джованни Антонио Вальтрино. Хотя он не знал Алоизия при жизни, но, прибыв из Сицилии вскоре после его кончины и прочтя то первое «Житие», которое я написал, он проникся к святому таким благоговением, что не только каждый день посещал его могилу, но и приносил из сада живые цветы, рассыпая их над местом погребения. Он говаривал, что Алоизий воистину достоин этих приношений, ибо сам при жизни был украшен и озарен цветением дивных добродетелей.

Тело Алоизия покоилось в том первом гробу семь лет, то есть до 1598 года. Затем, дабы по прошествии времени останки его не смешались с прахом других усопших, по распоряжению Отца Генерала Клаудио Аквавивы кости были извлечены из большого гроба и переложены в ларец поменьше. Этот ковчег был помещен в той же нише, но выше, в самой стене со стороны улицы. Совершилось это 22 июня 1598 года.

По этому случаю с дозволения отца провинциала, пожелавшего лично присутствовать при этом, были изъяты частицы святых мощей, которые вскоре разошлись по многим городам Италии, а также были отвезены в Польшу и Индию. Сам провинциал взял часть реликвий для себя и оделил ими других просивших. Не могу умолчать и о свидетельстве провинциала: он подтвердил, что кости святого нашли не разрозненными, а сочлененными; они сохранили ту смиренную осанку и кроткий наклон головы, который были столь свойствен Алоизию при жизни. Это зрелище пробудило в очевидцах необычайное чувство благоговения.

В последующие годы, когда Бог начал являть миру святость Своего раба через чудеса, совершавшиеся по его заступничеству, тот же Отец Генерал распорядился извлечь святые мощи из стенной ниши и перенести их в иное, более достойное место, отдельно от прочих захоронений. Во исполнение этого приказа 8 июня 1602 года священные останки были в глубокой тайне перенесены в ризницу, а 1 июля того же года их положили в свинцовый ковчег, помещенный в деревянный ящик, и разместили под подножием алтаря св. Севастиана в той же церкви.

И хотя это перенесение старались совершить как можно более скрытно, не извещая никого, кроме исполнителей, народное благочестие проведало правду. Вскоре верующие отыскивали место, где было сокрыто это священное сокровище.

Слава его святости росла во всем мире день ото дня, а чудеса, творимые Богом по его заступничеству, множились. Тогда превосходительный князь дон Франческо Гонзага, маркиз Кастильоне и императорский посол, решил, что место, где покоился его брат, слишком тесно. По его настойчивой просьбе Отец Генерал велел вновь извлечь ковчег; раку открыли, и с дозволения начальствующих маркиз взял несколько малых частиц мощей для светлейшего герцога Мантуи и для самого себя.

Главу святого по распоряжению Отца Генерала передали в римский храм Иль-Джезу, а остальную часть святых мощей 13 мая 1605 года священники собственноручно торжественно перенесли при свете множества факелов и светильников, под пение гимнов и музыку, в капеллу Богоматери той же церкви Благовещения. Мощи были помещены в нишу в стене над полом со стороны Евангелия.

Это перенесение старались совершить как можно более тайно, за закрытыми дверями. Однако едва в храм вошли упомянутый посол с супругой, герцог Поли и другие знатные вельможи, собралось столько народа, что началась давка. Священникам пришлось долгое время удерживать напор толпы, позволяя людям лобызать святые мощи, поклоняться им и прикладывать к ним свои четки, прежде чем останки были окончательно сокрыты в приготовленной для них нише.

Там сии святые мощи покоятся и поныне, когда я пишу эти строки; над ними помещено изображение блаженного, а вокруг висит множество вотивных приношений. Перед ними всегда теплится неугасимая лампада, и место это окружено великим почитанием — к нему постоянно стекаются паломники.

Ныне же да молится о нас его святая душа на небесах, пока мы здесь, на земле, почитаем его священные реликвии; да испросит он для нас у Господа изобильную благодать и полноту заслуг, дабы соделались мы достойными обетований Воплощенного Слова, Ему же вкупе с Отцом и Святым Духом да будет слава и честь во веки веков. Аминь.

¹ *Сторона Евангелия — левая сторона алтарного пространства (если смотреть от входа в храм).*

*Перевод: Константин Чарухин
Корректор: Ольга Самойлова*

ПОДДЕРЖАТЬ ПЕРЕВОДЧИКА:

PayPal.Me/ConstantinCharukhin
или
Счёт в евро:
PL44102043910000660202252468
Счёт в долл. США:

PL49102043910000640202252476
Получатель: CONSTANTIN CHARUKHIN
Банк: ВРКОPLPW

**БИБЛИОТЕКА ПЕРЕВОДОВ
КОНСТАНТИНКА ЧАРУХИНА**